

ДОЛГ:

ПЕРВЫЕ 5000 ЛЕТ
ИСТОРИИ

ДЭВИД ГРЕБЕР

Дэвид Гребер

Долг: первые 5000 лет истории

Текст предоставлен правообладателем.

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=8511159

*Гребер, Дэвид Долг: первые 5000 лет истории: Ад Маргинем Пресс; Москва; 2015
ISBN 978-5-91103-206-7*

Аннотация

Масштабное и революционное исследование истории товарно-денежных отношений с древнейших времен до наших дней, предпринятое американским антропологом, профессором Лондонской школы экономики и одним из «антилидеров» движения “Occupy Wall street”, придумавшим слоган «Нас – 99 %». Гребер, опираясь на антропологические методы, выдвигает тезис, что в основе того, что мы традиционно называем экономикой, лежит долг, который на разных этапах развития общества может принимать формы денег, бартера, залогов, кредитов, акций и так далее. Один из императивов книги – вырвать экономику из рук «профессиональных экономистов», доказавших свою несостоятельность во время последнего мирового кризиса, и поместить ее в более широкий контекст истории культуры, политологии, социологии и иных гуманитарных дисциплин. Для широкого круга читателей.

Содержание

Глава 1	5
Глава 2	19
Глава 3	34
Государство и кредитные теории денег	37
В поисках мифа	42
Глава 4	57
Глава 5	68
Коммунизм	72
Обмен	78
Иерархия	83
Перемещение между модальностями	87
Глава 6	97
Деньги как неадекватная замена	100
Долги крови (леле)	105
Конец ознакомительного фрагмента.	106
Комментарии	

Дэвид Гребер

Долг: первые 5000 лет истории

Данное издание осуществлено в рамках совместной издательской программы Музея современного искусства «Гараж» и ООО «Ад Маргинем Пресс»

© David Graeber, 2011, 2012, 2014

© А. Дунаев, перевод, 2015

© ООО «Ад Маргинем Пресс», 2015

© Фонд развития и поддержки искусства «АЙРИС»/ IRIS Foundation, 2015

Глава 1

Об опыте нравственной путаницы

долг

сущ. 1) сумма денег, взятая взаймы; 2) денежное обязательство; 3) чувство благодарности за оказанное одолжение или услугу.

Оксфордский словарь английского языка

Если вы должны банку сто тысяч долларов, вы принадлежите банку. Если вы должны банку сто миллионов долларов, банк принадлежит вам.

Американская пословица

Два года назад, по странному стечению обстоятельств, я оказался на пикнике в Вестминстерском аббатстве. Мне там было не очень уютно. Не то чтобы остальные гости были неприятны или недружелюбны; да и отец Грейм, устроивший пикник, был исключительно радушным и обходительным хозяином. Но я себя чувствовал не в своей тарелке. В какой-то момент отец Грейм подошел ко мне и сказал, что у фонтана неподалеку стоит человек, с которым я точно захочу пообщаться. Этим человеком оказалась элегантная, хорошо одетая молодая женщина, которая, как он мне объяснил, была адвокатом. «Но она скорее активист – работает в фонде, который предоставляет юридическую поддержку группам, борющимся с бедностью в Лондоне. Я думаю, вам есть о чем поговорить».

Мы стали болтать. Она рассказала о своей работе, я – что много лет участвую в движении за глобальную справедливость, «антиглобалистском движении», как его обычно называют в СМИ. Ей это было интересно: она, разумеется, много читала о Сиэтле, Генуе, слезоточивом газе и уличных столкновениях, но... чего мы всем этим добились?

– На самом деле, – сказал я, – по-моему, за эту пару лет нам удалось добиться на удивление многого.

– Например?

– Ну например, нам удалось почти полностью уничтожить МВФ.

Что такое МВФ, она вообще не знала – такое часто встречается. Тогда я пояснил, что Международный валютный фонд действует в основном как мировой выбиватель долгов: «Можно сказать, что в мире высоких финансов это эквивалент тех ребят, которые приходят и ломают тебе ноги». Я пустился в исторические объяснения и рассказал, как во время нефтяного кризиса 1970-х годов страны ОПЕК закачали свалившиеся на них богатства в западные банки, так что те не знали, куда вложить все эти деньги; как *Citibank* и *Chase* стали отправлять по всему миру своих агентов, которые должны были убедить диктаторов и политиков стран Третьего мира брать займы (в те времена это называлось «динамичными банковскими услугами»); как они предложили крайне низкие процентные ставки, которые почти сразу взлетели до 20 % или около того из-за ужесточения монетарной политики в США в начале 1980-х годов; как в 1980–1990-е годы это привело к долговому кризису в странах Третьего мира; как затем в дело вступил МВФ, который, стремясь добиться от бедных стран возвращения займов, стал настаивать на том, чтобы они отказались от субсидирования цен на базовые продукты питания или даже от политики поддержания стратегических продовольственных резервов, а также от бесплатного здравоохранения и бесплатного образования; как все это привело к крушению системы оказания необходимой помощи самым бедным и обездоленным людям на Земле. Я говорил о бедности, о расхищении общих ресурсов, крушении обществ, неискоренимом насилии, недоедании, беспросветности и погубленных жизнях.

– Но какова была *Ваша* позиция? – спросила меня юрист.

– Относительно МВФ? Мы хотели его упразднить.

– Нет, я имела в виду долг стран Третьего мира.

– О, его мы тоже хотели упразднить. Мы требовали от МВФ, чтобы он немедленно прекратил навязывать программы структурных реформ, которые наносили странам прямой ущерб, и нам удалось этого добиться на удивление быстро. Более долгосрочной целью была долговая амнистия. Нечто в духе библейского отпущения грехов. По нашему мнению, – сказал я ей, – тридцати лет перекачивания денег из беднейших стран в богатейшие достаточно.

– Но, – возразила она так, как если бы это было само собой разумеющимся, – они заняли деньги! Разумеется, каждый должен выплачивать свои долги.

Тут я понял, что наш разговор будет идти совсем в ином ключе, чем я себе представлял.

С чего начать? Я мог бы объяснить, что эти займы брали никем не избранные диктаторы и затем прямиком переводили их на свои счета в швейцарском банке, и попросить ее оценить, насколько справедливо требовать, чтобы долги кредиторам не возвращались диктатором или хотя бы его друзьями, а выплачивались за счет того, что голодных детей в буквальном смысле лишали пищи. Или подумать о том, сколько из этих бедных стран уже выплатили по три-четыре раза то, что занимали, но благодаря волшебству сложного процента это особенно не сказывается на основной сумме долга. Я мог бы также заметить, что есть разница между тем, когда долг рефинансируется, и тем, когда рефинансирование долга обуславливается требованием, чтобы эти страны следовали ортодоксальным экономическим принципам свободного рынка, которые разрабатывались в Вашингтоне или Цюрихе и которые не получали и никогда не получают одобрения граждан этих стран, и что не совсем честно сначала добиваться от этих стран принятия демократических конституций, а потом настаивать на том, чтобы избранные лица, кем бы они ни были, не могли контролировать проводимую страной политику. Или что экономические принципы, навязываемые МВФ, просто не работают. Но была более существенная проблема, которая заключалась в самом допущении, что долги *должны* выплачиваться.

Действительно, особенность утверждения, что «каждый должен выплачивать свои долги», заключается в том, что даже в соответствии со стандартной экономической теорией это неправда. Предполагается, что кредитор берет на себя определенную степень риска. Если бы все займы, сколь бы идиотскими они ни были, должны были бы возвращаться – скажем, если бы не было законов о банкротстве, – то результаты были бы ужасными. Разве у кредитора были бы причины не выделять глупый заем?

«Да, я знаю, что это кажется очевидным, – сказал я, – но самое забавное в том, что, с экономической точки зрения займы не должны так работать. Предполагается, что благодаря финансовым институтам денежные ресурсы превращаются в выгодные капиталовложения. Если бы банк гарантированно получал обратно свои деньги плюс процент вне зависимости от того, что он делал, система бы не работала. Представьте, что я отправлюсь в ближайшее отделение Королевского банка Шотландии и скажу «Знаете, я тут получил точные сведения о лошадях, участвующих в скачках. Что, если вы мне одолжите пару миллионов фунтов?» Разумеется, они лишь посмеются надо мной. А все потому, что они знают, что если моя лошадь не придет первой, то они ни за что не смогут получить свои деньги обратно. А теперь представьте, что есть закон, согласно которому они гарантированно получают свои деньги, что бы ни произошло, пусть даже это означает, что я должен – не знаю – отдать мою дочь в рабство или продать органы или сделать еще что-нибудь в таком роде. Ну в таком случае почему бы и нет? Зачем с нетерпением ждать, пока зайдет кто-то, у кого есть толковый план по созданию прачечной или чего-то подобного? В сущности, именно такую ситуацию МВФ создал в глобальном масштабе – иначе откуда бы взялись все эти банки, стремящиеся всучить миллиарды долларов первой же попавшейся кучке жуликов?»

Продвинуться дальше мне не удалось, потому что как раз в этот момент появился подвыпивший финансист, услышавший, что мы говорим о деньгах, и начавший рассказывать забавные истории о моральном риске, которые очень скоро перетекли в долгий и не очень захватывающий отчет об одном из его завоеваний на личном фронте. Меня стало клонить ко сну.

Однако на протяжении нескольких следующих дней у меня в голове продолжала звучать эта фраза: «Разумеется, каждый должен выплачивать свои долги».

Ее сила в том, что она представляет собой утверждение не экономического, а нравственного порядка. В конце концов, разве нравственность не подразумевает, что нужно выплачивать долги? Возвращать людям то, что ты им должен. Брать на себя ответственность за свои действия. Выполнять свои обязательства по отношению к другим и вместе с тем ожидать, что другие будут выполнять свои обязательства по отношению к тебе. Можно ли найти более очевидный пример увиливания от ответственности, чем отказ от обещания или неуплата долга?

Я понял, что именно кажущаяся самоочевидность делала это утверждение таким коварным. Логика такого рода может превратить самые ужасные вещи в нечто совершенно безобидное и заурядное. Мои слова могут показаться резкими, но к такого рода вещам трудно относиться иначе, если ты видел их последствия своими глазами. Я видел. Почти два года я жил в горах Мадагаскара. Незадолго до моего приезда там произошла вспышка малярии. Она оказалась особенно губительной потому, что в горных районах Мадагаскара малярию искоренили много лет назад и два поколения спустя большинство жителей утратили к ней иммунитет. Проблема состояла в том, что на программу уничтожения малярийных комаров требовались деньги, поскольку было необходимо постоянно контролировать их численность и проводить обработку инсектицидами, если они начинали активно размножаться. Но из-за бюджетной экономии, навязанной МВФ, правительству пришлось сократить программу мониторинга. Эпидемия унесла жизни десяти тысяч человек. Я видел молодых матерей, оплакивавших своих погибших детей. Ясно, что гибель десяти тысяч человек трудно оправдать тем, что иначе *Citibank* пришлось бы списывать убытки по безответственно выданному займу, который не имел для баланса банка особенного значения. Но вот приличный человек, работающий ни много ни мало в благотворительной организации, считает это само собой разумеющимся. В конце концов, они были должны, а каждый должен выплачивать свои долги.

* * *

Несколько недель подряд эта фраза крутилась у меня в голове. Почему долг? Что придает этому понятию такую странную силу? Потребительский долг – двигатель нашей экономики. Все современные национальные государства построены на основе бюджетного дефицита. Долг превратился в ключевой вопрос международной политики. Но, похоже, никто точно не знает, что это такое и как его осмыслить.

Сила этого понятия проистекает из самого нашего неведения о том, что такое долг, из самой его гибкости. Если история чему-нибудь учит, то ее урок таков: нет лучшего способа оправдать отношения, основанные на насилии, и придать им нравственный облик, чем выразить их языком долга, – прежде всего потому, что это сразу создает впечатление, будто сама жертва делает что-то не так. Это понимают мафиози. Так поступают командующие победоносными армиями. На протяжении тысяч лет агрессоры могли говорить своим жертвам, что те им что-то должны: они «обязаны им своими жизнями» (фраза, говорящая сама за себя) просто потому, что их не убили.

Скажем, в наши дни военная агрессия квалифицируется как преступление против человечности и международные суды, когда рассматривают такие дела, обычно требуют, чтобы агрессоры выплачивали компенсации. Германии пришлось выплатить огромные репарации после Первой мировой войны, а Ирак до сих пор платит Кувейту за вторжение, организованное Саддамом Хусейном в 1990 году. Но долг стран Третьего мира, например Мадагаскара, Боливии или Филиппин, как представляется, работает совершенно иначе. Почти все государства-должники Третьего мира в свое время подверглись агрессии и были завоеваны европейскими странами – зачастую теми самыми, которым они были должны денег. Так, в 1895 году Франция захватила Мадагаскар, свергла правившую там королеву Ранавалуну III и провозгласила страну своей колонией. Одной из первых вещей, которую сделал генерал Галлиени после «умиротворения», как это тогда называлось, стало обложение малагасийского населения высокими налогами – отчасти для возмещения расходов на завоевание, но еще и для строительства железных и шоссейных дорог, мостов, плантаций и всего прочего, что хотел построить колониальный режим: французские колонии должны были сами себя обеспечивать налогами. Малагасийских налогоплательщиков никогда не спрашивали, нужны ли им железные и шоссейные дороги, мосты и плантации, и не особо допускали к решению вопросов о том, где и как их строить^[1]. Напротив, в последующие пятьдесят лет французская армия и полиция перебила немало мальгашей, которые слишком сильно сопротивлялись такому положению дел (по данным некоторых отчетов, свыше полумиллиона во время одного только восстания 1947 года). Мадагаскар никогда не наносил подобного ущерба Франции, но несмотря на это с самого начала мальгашам говорили, что они должны Франции денег, и по сей день им твердят, что они должны Франции, и весь остальной мир находит это утверждение справедливым. «Международное сообщество» усматривает в этой ситуации моральную проблему лишь тогда, когда чувствует, что малагасийское правительство слишком медленно выплачивает свои долги.

Но долг – это не только справедливость победителя; он может также служить средством наказания тех победителей, которые не должны были побеждать. Самым ярким примером этого является история Республики Гаити – первой бедной страны, попавшей в бесконечную долговую кабалу. Она была создана бывшими плантационными рабами, которые не только осмелились поднять восстание под лозунгами универсальных прав и свобод человека, но еще и разбили наполеоновские армии, посланные для того, чтобы вернуть их в неволю. Франция сразу же стала утверждать, что новая республика должна ей 150 миллионов франков в качестве возмещения убытков за экспроприированные плантации, а также на покрытие расходов на подготовку провалившейся военной экспедиции, и все остальные страны, в том числе Соединенные Штаты, согласились наложить на Гаити эмбарго до тех пор, пока долг не будет погашен. Выплатить эту сумму (приблизительно 18 миллиардов долларов в сегодняшних ценах) было невозможно, а последовавшее эмбарго сделало название «Гаити» синонимом долга, бедности и человеческой нищеты^[2].

Но иногда долг означает ровно противоположное. Начиная с 1980-х годов Соединенные Штаты, настаивавшие на строгих условиях выплаты долга странами Третьего мира, стали наращивать военные расходы и сами накопили такие долги, которые легко затмили задолженность всех стран Третьего мира, вместе взятых. Внешний долг США облекается в форму казначейских облигаций, которые держат институциональные инвесторы в странах, являющихся в большинстве случаев американскими военными протекторатами (Германия, Япония, Южная Корея, Тайвань, Таиланд, государства Персидского залива). Они покрыты базами США, напичканными оружием и оборудованием, которые как раз оплачиваются бюджетным дефицитом. Сейчас, поскольку в игру вступил Китай (Китай – отдельный случай, ниже мы расскажем почему), ситуация изменилась, но несильно: даже Китай полагает, что

наличие у него такого количества казначейских облигаций США делает его до определенной степени заложником американских интересов, а не наоборот.

Так каким статусом обладают деньги, которые постоянно текут в американскую казну? Это займы? Или дань? В прошлом военные державы, имевшие сотни военных баз за пределами собственной территории, было принято называть «империями», а империи регулярно требовали дани с подвластных народов. Американское правительство, разумеется, настаивает на том, что США не империя, но, как нетрудно заметить, единственная причина, по которой оно упорно называет эти выплаты «займами», а не «данью», заключается в том, что оно отрицает реальность происходящего.

С другой стороны, история знает примеры, когда с некоторыми видами долгов и некоторыми типами должников обращались иначе, чем с остальными. В 1720-е годы, когда в британской популярной прессе рассказывалось об условиях содержания в долговых тюрьмах, одна из вещей, которая больше всего шокировала публику, состояла в том, что эти тюрьмы нередко делились на две части. Аристократических узников, для которых недолгое пребывание в тюрьмах Флит или Маршалси было весьма модным времяпрепровождением, обслуживали слуги в ливреях; к ним также регулярно допускали проституток. В «бедной стороне» обнищавшие должники томились в кандалах в тесных камерах; «покрытые грязью и вшами, – как указывалось в одном из отчетов, – они страдали и гибли от голода и тюремной лихорадки»^[3].

В определенном смысле нынешнее положение в мировой экономике можно рассматривать как расширенную версию того же самого: США в этом случае будут привилегированным должником, Мадагаскар – бедняком, голодающим в соседней камере; а слуги привилегированного должника будут поучать его, что его проблемы – следствие его же собственной безответственности.

Во всем этом есть нечто более фундаментальное, своего рода философский вопрос, который нам стоит рассмотреть. В чем заключается разница между гангстером, который вытаскивает пистолет и вымогает у вас тысячу долларов «за крышу», и тем же гангстером, который вытаскивает пистолет и требует у вас «заем» в тысячу долларов? В принципе особой разницы нет. Но в некотором смысле есть. Если речь идет об американском долге перед Кореей или Японией, о том, что может измениться баланс сил, что Америка может утратить свое военное преимущество или что гангстер может лишиться своих подручных, то к «займу» начинают относиться совсем по-другому. Он может стать настоящим финансовым обязательством. Но ключевым элементом все равно будет оставаться пистолет.

Есть старая водевильная шутка, которая излагает то же самое более изящно – в данном случае в интерпретации Стива Райта:

На днях я гулял по улице с другом, и вдруг из аллеи к нам выскакивает парень с пушкой и говорит: «Руки вверх!» Пока я доставал бумажник, я думал: «Нельзя отдавать ему все». Я взял немного денег, повернулся к другу и сказал: «Слушай, Фред, вот пятьдесят баксов, которые я тебе должен». Грабитель так возмутился, что вытащил тысячу своих долларов, заставил Фреда одолжить их мне, наведя на него пистолет, и потом забрал их себе.

В конечном счете человек с пистолетом не должен делать ничего, чего ему делать не хочется. Но для того чтобы эффективно управлять режимом, основанным на насилии, нужно установить некий свод правил. Эти правила могут быть совершенно произвольными. В сущности, неважно даже, что это за правила. Или, по крайней мере, поначалу неважно. Проблема в том, что когда кто-то начинает излагать вещи в терминах долга, то рано или поздно люди неизбежно станут задавать вопрос, кто что и кому на самом деле должен.

Споры о долгах идут уже по меньшей мере пять тысяч лет. На протяжении большей части человеческой истории – по крайней мере, истории государств и империй – большинству людей внушали, что они должники^[4]. Историки, прежде всего историки идей, не желали рассматривать человеческие последствия этого с упорством, которое тем более удивительно, если учесть, что такое положение дел больше, чем какое-либо другое, приводило к постоянному возмущению и недовольству. Если вы скажете людям, что они хуже вас, то им это вряд ли понравится, но маловероятно, что они поднимут вооруженное восстание. Если же вы им скажете, что они потенциально равны вам, но не сумели этого доказать и потому не достойны, а значит, и не должны владеть своим имуществом, то вы, скорее всего, возбудите в них ярость. Именно этому история нас и учит. На протяжении тысяч лет борьба между богатыми и бедными зачастую принимала форму конфликта между кредиторами и должниками – спора о справедливом и несправедливом проценте, о долговой кабале, амнистии, изъятии собственности за долги, возврате имущества, конфискации овец, наложении ареста на виноградники и о продаже детей должника в рабство. В то же время в последние пять тысяч лет народные восстания всякий раз начинались с одного и того же – с уничтожения долговых записей в форме табличек, папирусов, счетных книг или в любом другом виде в зависимости от места и времени. (После этого повстанцы, как правило, берутся за записи о земельных владениях и за книги оценки имущества.) Как часто повторял великий историк Античности Мозес Финли, в Древнем мире у всех революционных движений был один лозунг: «Списание долгов и передел земли»^[5].

Наше стремление не замечать этого выглядит тем более странным, если обратить внимание на то, сколь значительная часть современной нравственной и религиозной лексики происходит напрямую из таких конфликтов. Слова «расплата» или «искупление» – наиболее очевидные примеры, взятые непосредственно из античного финансового словаря. В более широком смысле то же самое можно сказать о словах «виновный», «свобода», «прощение» и даже «грех». Споры о том, кто что и кому на самом деле должен, сыграли ключевую роль в формировании нашей базовой лексики, касающейся вопросов справедливости и несправедливости.

Тот факт, что столь значительный ее пласт родился в спорах о долгах, делает это понятие удивительно путанным. В конце концов, чтобы спорить с королем, нужно говорить на его языке вне зависимости от того, имеют смысл или нет изначальные предпосылки.

Если взглянуть на историю долга, то в первую очередь обнаруживается, что речь идет о полной нравственной путанице. Наиболее явно она проявляется в том, что повсюду большинство людей полагает, что (1) выплата денег, взятых в долг, – это вопрос элементарной порядочности и что (2) всякий, кто имеет обыкновение давать деньги в займы, есть воплощенное зло.

Хотя, конечно, мнения по этому последнему пункту различаются довольно сильно. Одной из возможных крайностей может быть ситуация, с которой столкнулся французский антрополог Жан-Клод Галей в Восточных Гималаях. Там еще в 1970-е годы низшие касты – их называли «кастами побежденных», поскольку считалось, что они происходят от населения, завоеванного много веков назад кастой нынешних землевладельцев, – жили в постоянной долговой зависимости. Не имея ни земли, ни денег, они были вынуждены просить в долг у землевладельцев, чтобы просто раздобыть еды. Просили они не потому, что им нужны были деньги – суммы эти были мизерными, – а потому, что проценты по долгу несчастные должники возвращали своим трудом. Это означало, что их, по крайней мере, обеспечивали едой и кровом в обмен на то, что они чистили отхожие места в домах кредиторов и перестилали кровлю в их сараях. Для «побежденных», как и для большинства людей в мире, самыми значительными расходами были свадьбы и похороны. На них требовалось немало денег, которые всегда приходилось занимать. Галей пишет, что в таких случаях кредиторы из

высших каст обычно требовали в качестве залога одну из дочерей заемщика. Когда бедняк одалживал денег на свадьбу дочери, залогом нередко становилась сама невеста. Она должна была явиться в дом кредитора после брачной ночи, провести там несколько месяцев в качестве его наложницы, а затем, когда она ему надоедала, она отправлялась на какой-нибудь лесоповал неподалеку, где еще год-два отработывала отцовский долг, работая проституткой. После его выплаты она возвращалась к своему мужу и начинала жить семейной жизнью^[6].

Это может шокировать и даже возмущать, но Галей не сообщает о каком-либо широко распространенном чувстве несправедливости. Каждый считал, что так просто было заведено. Не выражали по этому поводу особого беспокойства и местные брахманы, являвшиеся высшими судьями в вопросах нравственности, хотя это и неудивительно, если учесть, что они зачастую и были самыми крупными заимодавцами.

Разумеется, даже здесь трудно узнать, что люди говорили за закрытыми дверями. Если бы маоистская повстанческая группировка (в этой сельской части Индии их действует несколько) установила контроль над этой территорией и привлекла местных ростовщиков к суду, мы, возможно, услышали бы самые разные точки зрения.

Однако, как я говорил, описанная Галеем ситуация представляет собой одну возможную крайность – ту, при которой сами ростовщики являются высшими нравственными авторитетами. Сравните это, допустим, со средневековой Францией, где нравственный статус заимодавцев сильно оспаривался. Католическая церковь всегда запрещала ссужать деньги под проценты, но этим запретом часто пренебрегали, и церковные иерархи время от времени устраивали проповеднические кампании, отправляя нищенствующих братьев странствовать от города к городу и предупреждать ростовщиков, что если те не покаются и не вернут полностью все проценты, полученные от своих жертв, то точно попадут в ад.

Эти проповеди, многие из которых до нас дошли, полны ужасных историй о Божьем суде над нераскаявшимися заимодавцами, историй о богачах, пораженных безумием или страшными болезнями, преследуемых на смертном одре кошмарами, в которых змеи или демоны разрывают их на части или пожирают их плоть. В XII веке, когда такие кампании достигли своего пика, стали применяться более прямые меры. Папская курия разослала приходским священникам инструкции, в соответствии с которыми всех известных ростовщиков следовало отлучить от церкви; они не могли получать доступ к таинствам, а их тела ни при каких условиях нельзя было хоронить на освященной земле. Около 1210 года французский кардинал Жак де Витри записал историю об очень влиятельном заимодавце, друга которого попытались заставить священника пересмотреть эти правила и позволить похоронить его во дворе местной церкви:

Поскольку друзья скончавшегося ростовщика были очень настойчивыми, священник уступил их давлению и сказал: «Давайте положим его тело на осла и посмотрим, какова будет воля Божья и что Господь сделает с телом. Куда осел его повезет, будь то в церковь, на кладбище или еще куда, там я его и похороню». Тело положили на осла, который, не сворачивая ни направо, ни налево, повез его напрямик вон из города, туда, где вешают воров, и там так сильно столкнулся с собой труп, что тот полетел в кучу испражнений под виселицей^[7].

В мировой литературе почти невозможно найти сочувственные описания заимодавца, во всяком случае профессионального заимодавца, под которым подразумевается тот, кто берет процент. Я не уверен, есть ли другая профессия (палачи?), у которой была бы столь же дурная репутация. Особо примечательно то, что, в отличие от палачей, ростовщики часто числятся среди самых богатых и могущественных людей в своих обществах. Само слово «ростовщик» ассоциируется с грабительскими процентами, грязными деньгами, вымога-

тельством, продажей душ, а за всем этим стоит Дьявол, которого зачастую самого представляли в виде ростовщика, зловредного счетовода с его бухгалтерскими книгами или в образе существа, маячащего за спиной ростовщика и поджидающего момента, чтобы заполучить душу подлеца, который, как это явствует из рода его занятий, заключил сделку с адом.

История знает лишь два действенных способа, при помощи которых заимодавец может попытаться избавиться от бесчестья: либо перекинуть ответственность на третью сторону, либо утверждать, что заемщик еще хуже него. Например, в средневековой Европе землевладельцы часто обращались к первому способу, используя в качестве подставных лиц евреев. Многие даже говорили о «наших» евреях, т. е. о евреях, находившихся под их личной защитой, хотя на практике это обычно означало, что они сначала лишали евреев, живших на их землях, иной возможности заработать на жизнь, кроме как ростовщичеством (что обеспечивало им всеобщую ненависть), а затем периодически, называя их при этом презренными существами, обращались к ним, чтобы занять денег на свои нужды. Второй способ был, конечно, шире распространен. Но он, как правило, подталкивал к выводу о том, что и заимодавец, и заемщик в равной степени виновны; их сделка – бесчестное дело, а сами они, скорее всего, будут прокляты.

В других религиозных традициях подходы были иными. В средневековых индийских судебныхниках не только допускались процентные ссуды (с обязательной оговоркой, что проценты не должны превышать основной суммы займа), но и часто подчеркивалось, что должник, не выплативший долги, в следующей жизни родится рабом в доме своего кредитора, а в более поздних судебныхниках утверждалось, что такой должник станет его лошадью или волком. Столь же терпимое отношение к заимодавцам и предупреждения в адрес заемщиков о кармическом наказании встречаются во многих течениях буддизма. Тем не менее когда ростовщики заходили слишком далеко, появлялись точно такие же истории, как в Европе. Один средневековый японский автор – он настаивает, что это правдивая история, случившаяся около 776 года, – рассказывает об ужасающей судьбе Хиромусиме, жены богатого правителя области. Эта невероятно жадная женщина

добавляла воду в рисовое вино, которое продавала, и получала хороший барыш с этого разбавленного сакэ. Когда она кому-нибудь что-нибудь одалживала, она использовала маленькую мерную чашу, но в день возвращения долга брала большую чашу. Ссужая рис, она отмеряла маленькие порции, но уплату долга брала большими. Проценты, которые она собирала насильно, были огромными: часто в десять или даже сто раз больше размера займа. Она строго взыскивала долги и ни к кому не проявляла снисхождения. Это повергало в отчаяние многих людей, которые покидали свои дома, чтобы избавиться от нее, и отправлялись бродить по другим областям^[8].

После ее смерти монахи семь дней молились над заколоченным гробом. На седьмой день ее тело таинственным образом вернулось к жизни:

Те, кто приходил посмотреть на нее, ощущали неопишное зловоние. Выше талии она уже превратилась в вола с четырехдюймовыми рогами, торчащими из лба. Обе руки превратились в воловьи копыта, а ногти растрескались так, что теперь походили на роговые чехлы на воловьих копытах. Но ниже талии тело оставалось человеческим. Ей не нравился рис, она предпочитала ему траву. Пищу она пережевывала, лежа голой в собственных испражнениях^[9].

Зеваки сбегались поглазеть на нее. Пристыженная семья отчаянно пыталась купить прощение, списывая все долги, которые ей кто-либо был должен, и жертвуя большую часть своего богатства религиозным учреждениям. В конце концов чудовище, к счастью, умерло.

Автор, который сам был монахом, считал, что эта история служила очевидным примером преждевременного перевоплощения: женщина была наказана кармическим законом за нарушение того, «что было и разумным, и справедливым». Проблема для него заключалась в том, что буддистские писания хотя и рассматривали этот вопрос, но никакого прецедента для осуждения не давали. Обычно в волов перерождались должники, а не кредиторы. В результате, когда настает время объяснить мораль этой истории, изложение становится очень сбивчивым:

Как говорит одна сутра: «Когда мы не оплачиваем вещи, которые взяли займы, мы расплачиваемся тем, что перерождаемся в лошадь или в вола». «Должник подобен рабу, а кредитор – хозяину». Или же: «Должник – это фазан, а его кредитор – ястреб». Если вы даете кому-то займы, не давите слишком сильно на должника, чтобы он расплатился. Если вы так поступите, вы переродитесь в лошадь или вола и будете работать на того, кто вам должен, и расплатитесь с ним многократно^[10].

Так кто кем станет? Не могут же они оба стать скотом один в хлеву у другого.

Все великие религиозные традиции пытаются так или иначе решить этот сложный вопрос. С одной стороны, поскольку любые человеческие отношения основаны на долге, все они предосудительны с моральной точки зрения. Вероятно, обе стороны уже в чем-то виноваты просто потому, что вступают в отношения; по меньшей мере они подвергаются значительному риску оказаться виновными, если просрочат выплату долга. С другой стороны, когда мы говорим, что кто-то действует так, как будто «он никому ничего не должен», мы вряд ли имеем в виду, что этот человек – образец добродетели. В светском мире нравственность в основном состоит в том, чтобы выполнять обязательства по отношению к другим, и мы упорно представляем эти обязательства как долги. Возможно, монахи могут избежать этой дилеммы, полностью отрешившись от мира, но остальные, похоже, обречены на то, чтобы жить в мире, где это не имеет особого смысла.

* * *

История Хиромусиме прекрасно иллюстрирует стремление обратить обвинение против самого обвинителя. Как и в истории о мертвом ростовщике и осле, испражнения, животные и бесчестье служат инструментами поэтической справедливости, внушающими кредитору то же чувство позора и унижения, что испытывает должник. Все тот же вопрос «Кто что и кому на самом деле должен?» облекается в более яркую и резкую форму.

Это еще и прекрасный образец того, как человек, задающий вопрос «Кто что и кому на самом деле должен?», начинает говорить языком кредитора. Подобно тому как «мы расплачиваемся перерождением в лошадь или в вола», если не выплачиваем долги, «расплачиваться» придется и безрассудному кредитору. Таким образом, даже кармическое правосудие может свестись к терминам деловой сделки.

Здесь мы подходим к главному вопросу этой книги: что именно мы хотим сказать, когда говорим о том, что наше чувство нравственности и справедливости сведено к терминам деловой сделки? Что означает сведение нравственных обязательств к долгам? Что меняется, когда одно превращается в другое? И как именно мы о них говорим, если на наш язык так сильно повлияли рыночные отношения? С одной стороны, различие между обязательством и долгом очевидно. Долг – это обязательство заплатить определенную сумму денег.

Соответственно, долг, в отличие от любого другого вида обязательств, может быть точно измерен. Благодаря этому он становится простым, холодным и безличным понятием, а значит, его можно передавать другим людям. Если ты обязан кому-то услугой или жизнью, то это относится ко вполне определенному человеку. Но если ты должен сорок тысяч долларов под 12 % годовых, неважно, кто твой кредитор. Ни ты, ни он не должны особо задумываться о том, чего хочет другой участник сделки, что ему нужно или на что он способен, – в отличие от ситуации, когда один чувствует себя обязанным по отношению к другому из уважения или из благодарности или потому, что тот оказал ему услугу. Тут нужно принимать во внимание не человеческие последствия, а основной капитал, баланс, пени и процентные ставки. Если ты лишаешься дома и тебе приходится бродить по другим областям или твоя дочь вынуждена зарабатывать на жизнь проституцией в шахтерском поселке, то для кредитора это лишь досадное, но побочное обстоятельство. Деньги есть деньги, сделка есть сделка.

С этой точки зрения ключевым фактором и сюжетом, которому будут посвящены страницы нашей книги, является способность денег преобразовывать нравственность в безличную арифметику и оправдывать тем самым вещи, которые иначе казались бы непристойными и возмутительными. Фактор насилия, которому я до сих пор уделял такое внимание, может показаться вторичным. Различие между «долгом» и простым нравственным обязательством заключается не в наличии или отсутствии людей с оружием, которые могут взыскать это обязательство, наложив арест на собственность должника или угрожая переломать ему ноги. Оно состоит только в том, что у кредитора есть возможность точно выразить размер долга должника.

Однако при ближайшем рассмотрении обнаруживается, что два этих элемента – насилие и точное исчисление – тесно связаны. На самом деле одного почти никогда не бывает без другого. У французских ростовщиков были могущественные друзья и крепкие ребята, способные запугать даже церковные власти. Иначе как они смогли бы выбивать незаконные долги? Хиромусиме была непреклонна по отношению к своим должникам и «ни к кому не проявляла снисхождения», но ведь ее муж был правителем. Ей и не нужно было проявлять снисхождение. Те из нас, за кем не стоят вооруженные люди, не могут так выколачивать долги.

К вопросу о том, как насилие или угроза насилия превращает отношения между людьми в математику, мы будем возвращаться снова и снова. Это – первопричина нравственной путаницы, которая окутывает все то, что связано с тематикой долга. Вытекающие из этого вопроса дилеммы стары, как сама цивилизация. Мы можем наблюдать этот процесс в самых ранних письменных источниках Древней Месопотамии; первое философское выражение он находит в Ведах, затем появляется в бесчисленных формах на всем протяжении письменной истории и лежит в основе ключевых сегодняшних институтов – государства и рынка, равно как и наших базовых представлений о природе свободы, нравственности и общества. На их формирование так сильно повлияла история войн, завоеваний и рабства, что мы теперь этого и не замечаем, потому что не способны даже помыслить, что все может быть по-другому.

* * *

Есть очевидные причины, почему сейчас особенно важно переосмыслить историю долга. Начавшийся в сентябре 2008 года финансовый кризис почти полностью затормозил развитие всей мировой экономики. В результате корабли перестали плавать по океанам, тысячи судов были помещены в сухой док. Строительные краны разобрали, прекратилось строительство зданий. Банки урезали выдачу кредитов. Это не только вызвало ярость и смя-

тение общества, но и повлекло за собой начало серьезной общественной дискуссии о природе долга, денег и финансовых институтов, в руках которых оказалась судьба народов.

Но это продолжалось недолго. Дискуссия толком так и не состоялась.

К такой дискуссии люди были готовы, потому что история, которую им рассказывали последние лет десять, оказалась колоссальным обманом – по-другому и не скажешь. В течение несколько лет каждый из нас слышал о целой уйме новых, необычайно изощренных финансовых новинок: кредитные и товарные деривативы, деривативы, обеспеченные ипотечными облигациями, гибридные ценные бумаги, долговые свопы и т. д. . . Эти новые рынки деривативов были такими сложными, что, как гласит расхожая история, одна инвестиционная компания обратилась к астрофизикам с целью чтобы усложнить торговые программы настолько, чтобы даже финансисты перестали их понимать. Посыл был ясен: оставьте это профессионалам, вам этого все равно не понять. Даже если вы не особенно любите финансовых капиталистов (а мало кто берется доказывать, что их есть за что любить), они настолько хорошо – даже сверхъестественно хорошо – разбирались в этих делах, что о демократическом контроле над финансовыми рынками не приходилось и думать. (Так считали и многие ученые. Я хорошо помню конференции 2006–2007 годов, на которых модные социальные теоретики выступали с докладами о том, что новые формы секьюритизации, основанные на последних информационных технологиях, – предвестники грядущей трансформации природы времени, возможности и самой реальности. Помню, я еще тогда думал: «Вот болваны!» – и оказался абсолютно прав.)

Позже, когда эйфория прошла, выяснилось, что многие из этих новых форм, если не большинство, были не чем иным, как хорошо продуманными мошенническими схемами. Суть их заключалась в следующем: сначала бедным семьям продавались ипотечные кредиты, состряпанные так, что дефолт по ним был неизбежен; затем заключалось пари на то, через сколько времени держатели обанкротятся; потом множество займов объединялись в «пакеты» и продавались институциональным инвесторам (которые одновременно могли управлять пенсионными счетами держателей ипотек), требовавшим получения прибыли при любом развитии событий и права раздавать эти «пакетные» ипотеки так, как если бы они были деньгами; далее ответственность за уплату пари передавалась гигантскому страховому конгломерату, которого, если он начнет тонуть под грузом долгов (что должно было произойти), пришлось бы спасать налогоплательщикам (позже эти конгломераты действительно спасли)^[11]. Иными словами, все это очень похоже на сильно усовершенствованную версию того, что делали банки, ссужавшие в конце 1970-х годов деньги диктаторам Боливии и Габона: они совершенно безответственно выдавали кредиты, прекрасно осознавая, что, когда об этом станет известно, политики и бюрократы будут из кожи вон лезть, чтобы обеспечить выплату по ним любыми способами, невзирая на количество загубленных ради этого человеческих жизней.

Разница же заключалась в том, что теперь банкиры занимались этим в немыслимых масштабах: общий объем долгов, которые они накопили, превышал совокупный внутренний валовой продукт любой страны мира, из-за чего мир вошел в штопор, а сама система оказалась на грани уничтожения.

Армии и полиция разных стран готовились бороться с возможными бунтами и беспорядками, но они так и не вспыхнули. Впрочем, не произошло и каких-либо изменений в функционировании системы. В тот момент все осознали, что в условиях, когда рушатся ключевые институты капитализма (*Lehman Brothers, Citibank, General Motors*), а все их претензии на обладание высшей истиной оказались ложными, мы должны, по крайней мере, снова открыть более широкую дискуссию о природе долга и финансовых институтов. И не только дискуссию.

Казалось, что к радикальным решениям готова большая часть американцев. Исследования показывали: подавляющее их большинство полагало, что банкам помогать не нужно, *каким бы экономическим последствиям это ни привело*, зато нужно спасать обычных граждан, отягощенных плохими ипотечными кредитами. Для Соединенных Штатов это очень необычно. Еще с колониальных времен американцы не отличаются сочувствием к должникам, что, вообще-то, странно, поскольку Америка во многом была создана беглыми должниками; но в этой стране представление о том, что нравственность заключается в выплате долгов, распространено шире, чем какое-либо другое. В колониальную эпоху уши несостоятельных должников нередко прибавляли к столбам. Соединенные Штаты были одной из последних стран в мире, принявших закон о банкротстве; хотя Конституция, вступившая в силу в 1787 году, обязывала новое правительство разработать такой закон, все подобные попытки отвергались на основании «нравственных принципов» вплоть до 1898 года^[12], а его принятие стало эпохальным событием. Возможно, именно по этой причине люди, выступавшие в роли модераторов дискуссий в СМИ, и законодательные собрания решили, что пока еще не время что-либо менять. Правительство США выделило три триллиона долларов на решение проблемы и оставило все как есть. Банкиров спасли, а мелких должников – за очень редким исключением – нет^[13]. Напротив, в разгар самого сильного с 1930-х годов экономического спада против них начинается кампания, раздуваемая финансовыми корпорациями, которые обратились к спасшему их правительству с требованием применить всю строгость закона к обычным гражданам, столкнувшимся с финансовыми проблемами. «Быть должником не преступление, – пишет публикуемая в Миннеаполисе и Сен-Поле газета *Star Tribune*, – но людей регулярно бросают в тюрьму за невыплату долгов». В Миннесоте «за последние четыре года число постановлений об аресте выросло на 60 процентов, в 2009 году выдано 845 постановлений... В Иллинойсе и юго-западной Индиане некоторые судьи отправляют должников в тюрьму за просрочку долговых платежей, назначенных судом. В крайних случаях люди находятся за решеткой до тех пор, пока не находят деньги для внесения минимального платежа. В январе (2010 года) один судья приговорил мужчину из Кении, штат Иллинойс, к "бессрочному заключению", пока тот не соберет 300 долларов для уплаты долга лесозаготовительной компании»^[14].

Иными словами, мы движемся к воссозданию чего-то похожего на долговые тюрьмы. Между тем дискуссия заглохла, народный гнев против спасения банков ни к чему путному не привел, а мы, похоже, неумолимо катимся к следующей финансовой катастрофе – вопрос лишь в том, как скоро она наступит.

Мы достигли точки, в которой даже МВФ, ныне выставляющий себя в роли совести глобального капитализма, предупреждает, что если мы будем продолжать следовать тем же курсом, то в следующий раз на финансовую помощь рассчитывать не придется. Общественное мнение просто не поддержит такое решение, и тогда все действительно развалится. «МВФ предупреждает, что второе спасение банков станет "угрозой для демократии"» – гласил один недавний заголовок^[15]. (Естественно, под «демократией» имеется в виду «капитализм».) Это означает, что даже те, кто считает себя ответственным за нормальное функционирование нынешней глобальной экономической системы и кто всего несколько лет назад действовал так, будто она будет существовать вечно, теперь повсюду видят апокалипсис.

В данном случае МВФ прав. У нас есть все основания полагать, что мы действительно стоим на пороге эпохальных изменений.

Представлять себе все вокруг совершенно новым – обычная в таких ситуациях реакция, особенно в том, что касается денег. Сколько раз нам говорили, что благодаря появлению виртуальных денег и переходу от наличности к пластиковым картам и от долларов к движению графиков на мониторах мы оказались в совершенно новом финансовом мире. Очевидно, что представление о том, будто мы находимся на этой неизведанной территории, было одним

из факторов, который помог *Goldman Sachs*, *AIG* и им подобным убедить людей, что никто не способен понять суть их ослепительно новых финансовых инструментов. Однако если взглянуть на это в более широкой исторической ретроспективе, обнаруживается, что ничего нового в виртуальных деньгах нет. Более того, изначально деньги такими и были. Кредитные системы, таблички и даже расходные счета – все это существовало задолго до появления наличности. Эти вещи стары, как сама цивилизация. На самом деле история имеет тенденцию двигаться то к периодам преобладания золота и серебра, которые считались деньгами, то к периодам, когда деньги были лишь абстракцией, виртуальной расчетной единицей. Но с исторической точки зрения сначала появились кредитные деньги, и сейчас мы наблюдаем возвращение к представлениям, которые казались очевидными, скажем, в Средние века или даже в Древней Месопотамии.

История преподает нам замечательные уроки того, что нас может ожидать. Например, в прошлые эпохи виртуальных кредитных денег почти всегда создавались институты, которые оберегали систему от сбоев, не позволяя кредиторам вступать в сговор с бюрократами и политиками, чтобы выжимать из должников все до копейки, как они это делают сейчас. Возникли и институты, защищавшие должников. Новая эпоха кредитных денег, в которую мы живем, началась с шага в ровно противоположном направлении. Она берет отсчет с появления институтов вроде МВФ, цель которых – защищать не должников, а кредиторов. Вместе с тем в историческом масштабе, о котором мы здесь говорим, десятилетие или даже два – пустяк. Мы очень плохо себе представляем, чего нам ждать.

* * *

История долга, которая рассказывается в этой книге, позволяет задать фундаментальные вопросы о том, чем являются или чем могли быть люди и человеческое общество – что мы на самом деле друг другу должны и что означает сама постановка этого вопроса. Поэтому книга начинается с попытки развеять целый ряд мифов – не только миф о меновой торговле, о котором речь идет во второй главе, но и соперничающие с ним мифы об изначальном долге по отношению к богам или к государству, которые так или иначе служат основой общепринятых представлений о природе экономики и общества. Согласно общепринятой точке зрения, Государство и Рынок возвышаются над всем остальным как два диаметрально противоположных принципа. Однако исторические факты свидетельствуют, что они появились вместе и всегда были тесно взаимосвязаны. Как мы увидим, общей чертой этих ошибочных концепций является то, что они стремятся свести все человеческие отношения к обмену, как если бы наши связи с обществом и даже со Вселенной можно было бы представить в виде сделки. Это ведет к другому вопросу: если не обмен, то что? В пятой главе, опираясь на достижения антропологии, я начну отвечать на этот вопрос и опишу нравственные основы экономической жизни, а затем вернусь к вопросу о происхождении денег, чтобы показать, что сам принцип обмена в значительной степени возник вследствие насилия и что подлинные истоки денег следует искать в преступлении и возмездии, в войнах и рабстве, в чести, долге и искуплении. Это, в свою очередь, позволит приступить в восьмой главе к истории долга и кредита в последние пять тысяч лет, которая отмечена чередованием эпох виртуальных и реальных денег. Многие открытия здесь будут совершенно неожиданными: это и истоки современных представлений о правах и свободах в древних законах о рабовладении, и истоки инвестиционного капитала в средневековом китайском буддизме, и тот факт, что многие из самых известных утверждений Адама Смита были списаны из работ средневековых персидских теоретиков свободного рынка (это позволяет лучше понять современные призывы политического ислама). Все это создает фон для непредвзятого подхода к истории последних пяти тысяч лет, на протяжении которых преобладали капиталистические импе-

рии, и позволяет нам хотя бы начать отвечать на вопрос о том, что же на самом деле сегодня находится на кону.

В течение очень долгого времени среди интеллектуалов царило негласное правило не ставить Больших Вопросов. С каждым днем становится все очевиднее, что у нас нет другого выбора, кроме как начать их задавать.

Глава 2

Миф о меновой торговле

На любой тонкий и сложный вопрос всегда найдется простой и прямолинейный ответ, который будет неправильным.

Г.-Л. Менкен

В чем разница между обычным обязательством, подразумевающим, что человек должен вести себя определенным образом или что он чем-то обязан другому, и *долгом* в строгом смысле этого слова? Ответ простой: в деньгах. Разница между долгом и обязательством состоит в том, что долг можно точно исчислить. Для этого нужны деньги.

Деньги не просто делают возможным само понятие долга: деньги и долги появляются на исторической сцене в одно и то же время. Одни из самых ранних дошедших до нас письменных документов – это таблички из Месопотамии, где записаны приходы и расходы, пайки, выдававшиеся храмами, долги за аренду храмовых земель, размер которых точно указывалась в зерновом и серебряном выражении. А одни из наиболее ранних работ по нравственной философии суть размышления на тему того, как представить нравственность в виде долга – т. е. в денежном выражении.

Именно поэтому история долга – это история денег, и самый легкий способ понять, какую роль долг играл в человеческих обществах, заключается в том, чтобы просто проследить, какую форму обретали деньги и как они использовались на протяжении веков, а также исследовать споры, которые неизбежно возникали вокруг вопроса о том, что все это значит. Однако такая история денег будет разительно отличаться от той, к которой мы привыкли. Когда экономисты пишут о происхождении денег, долг в их рассуждениях всегда появляется в последнюю очередь. Сначала была меновая торговля, потом деньги, и только после этого возник кредит. Даже если взять книги по истории денег, скажем, во Франции, Индии или Китае, там, как правило, речь идет об истории чеканки монет, а вот дискуссий о кредитных отношениях в них почти нет. В течение почти столетия антропологи вроде меня утверждали, что такие представления неверны. Стандартная версия экономической истории имеет мало общего с тем, что мы наблюдаем, изучая, как на самом деле устроена экономическая жизнь в реальных сообществах и каков характер рыночных отношений почти везде, – мы скорее обнаружим, что все друг другу что-то должны в самых разных формах и что большинство сделок осуществляются без использования денег.

Откуда такое несоответствие?

В каком-то смысле объяснение лежит на поверхности: древние монеты сохранились до нашего времени, а записи о выдаче кредитов – нет. Но проблема шире. Существование кредита и долга всегда вызывало замешательство у экономистов, потому что невозможно утверждать, что те, кто ссужает деньги, и те, кто берет займы, действуют исходя исключительно из «экономических» мотивов (например, что заем чужаку и заем свояку – одно и то же). Поэтому историю денег нужно начинать с описания воображаемого мира, в котором кредиты и долги полностью отсутствуют. Прежде чем применять антропологические методы для воссоздания подлинной истории денег, мы должны понять, почему неверна общепринятая точка зрения.

Как правило, экономисты выделяют три функции денег: средство обмена, единица исчисления и средство сбережения. Первая из них во всех экономических учебниках признается основной. Вот типичный образец из книги «Экономика» (Case, Fair, Gärtner, and Heather, 1996):

Деньги жизненно необходимы для функционирования рыночной экономики. Представьте себе, какой бы была жизнь без них. Альтернативой денежной экономики является меновая торговля, в условиях которой люди напрямую обменивают товары и услуги на другие товары и услуги, вместо того чтобы вести обмен посредством денег.

Как работает система меновой торговли? Предположим, что вы хотите на завтрак круасаны, яйца и апельсиновый сок. Вместо того чтобы купить эти вещи в магазине за деньги, вам придется найти кого-нибудь, у кого есть эти продукты и кто хочет их обменять. У вас тоже должно быть что-то, что хотят булочник, поставщик апельсинового сока и продавец яиц. Если у вас есть карандаши, но они не нужны ни булочнику, ни поставщику сока, ни продавцу яиц, то они вам никак не помогут.

Система меновой торговли требует двойного совпадения потребностей людей, которые хотят совершить обмен. Иными словами, для обмена я не просто должен найти кого-то, у кого есть то, что я хочу, – этот человек еще и должен хотеть получить то, что есть у меня. Когда ассортимент товаров для обмена невелик, как это бывает в относительно просто устроенных экономиках, то найти кого-то, с кем можно обменяться товарами, несложно, и поэтому в них часто прибегают к меновой торговле^[16].

Это последнее утверждение спорно, но сформулировано оно так неясно, что опровергнуть его было бы нелегко.

В сложно устроенном обществе, где есть много товаров, прямой обмен требует слишком больших усилий. Попробуйте найти людей, которые продают все то, что вы обычно покупаете в магазине, и которые хотят получить товары, которыми вы предлагаете им обменяться.

Некое установленное средство обмена (или средство платежа) полностью устраняет проблему двойного совпадения потребностей^[17].

Важно подчеркнуть, что это представляется не как нечто действительно происходящее, а как отвлеченное от реальности упражнение. «Чтобы понять, что обществу выгодно иметь средство обмена, – пишут Бегг, Фишер и Дорнбух (*Economies*, 2005), – представьте себе экономисту, основанную на меновой торговле». «Представьте себе, как трудно вам бы пришлось сегодня, – пишут Маундер, Майерс, Уолл и Миллер (*Economies Explained*, 1991), – если бы вы должны были обменивать ваш труд непосредственно на продукт труда другого человека». «Представьте, – пишут Паркин и Кинг (*Economics*, 1995), – что у вас есть петухи, а вы хотите розы»^[18]. Примеры можно приводить до бесконечности. Почти каждый современный учебник по экономике формулирует проблему именно так. Мы знаем, отмечают они, что в истории было время, когда денег не было. Как это выглядело? Давайте представим себе приблизительно такую же экономику, как сегодня, но только без денег. Это было бы очень неудобно! Разумеется, люди должны были изобрести деньги из соображений эффективности.

Для экономистов история денег всегда начинается с воображаемого мира меновой торговли. Только вот как его локализовать во времени и пространстве: мы говорим о пещерных людях, жителях островов в Тихом океане или американском фронтире? Экономисты Джозеф Стиглиц и Джон Дриффил в своем учебнике переносят нас в воображаемый город в Новой Англии или на Среднем Западе:

Представим себе старомодного фермера, который в своем маленьком городке обменивается продуктами с кузнецом, портным, бакалейщиком и доктором. Однако для того, чтобы простой обмен работал, их потребности

должны совпадать... У Генри есть картошка, а он хочет ботинки, у Джошуа есть лишняя пара ботинок, и ему нужна картошка. Обмен может сделать их обоих счастливее. Но если у Генри есть дрова, а Джошуа они не нужны, то для того, чтобы ему выменять у Джошуа ботинки, им придется найти других людей и совершить многосторонний обмен. Деньги позволяют сделать многосторонний обмен намного проще. Генри продает свои дрова кому-то еще за деньги, которые использует для покупки ботинок у Джошуа^[19].

Опять мы попадаем в выдуманную страну, где все, как у нас, только вот деньги куда-то исчезли. В результате получается бессмыслица: кто в здравом уме станет открывать бакалейную лавку в таком месте? И как в нее будут поставляться товары? Неважно, оставим это в стороне. Есть одна простая причина, по которой всякий автор учебника по экономике считает, что должен рассказывать нам одну и ту же историю. Для экономистов эта история самая важная из всех. Именно рассказав ее в судьбоносном 1776 году, Адам Смит, профессор нравственной философии в университете Глазго, положил начало такой дисциплине, как экономика.

Эту историю он взял не с потолка. Еще в 330 году до н. э. Аристотель рассуждал на эту тему в схожем ключе в своем трактате о политике. Сначала, полагал он, семьи должны были сами производить все, что им нужно. Постепенно стала развиваться специализация: одни выращивали зерно, другие делали вино, потом одно обменивалось на другое^[20]. Этот процесс, по мнению Аристотеля, и привел к появлению денег. Но Аристотель, так же как и средневековые схоласты, иногда повторявшие эту историю, в детали не вдавался^[21].

После открытий Колумба, когда испанские и португальские искатели приключений стали рыскать по миру в поисках новых источников золота и серебра, эти туманные истории исчезли. Никто так и не открыл страну меновой торговли. Большинство путешественников XVI–XVII веков, побывавших в Вест-Индии или Африке, считали, что все общества обязательно располагали собственными формами денег, поскольку во всех обществах есть правительства и все правительства выпускают деньги^[22].

Однако Адам Смит вознамерился опровергнуть общепринятые в его эпоху представления. Прежде всего, он оспорил положение о том, что деньги создаются правительствами. В этом Смит был интеллектуальным наследником либеральной традиции в духе Джона Локка, считавшего, что правительство рождается из необходимости защищать частную собственность и действует лучше всего тогда, когда пытается ограничить себя выполнением одной этой функции. Смит развил эту точку зрения, заявив, что собственность, деньги и рынки не только существовали до политических институтов, но и служили первоосновой человеческого общества. Из этого вытекало, что раз правительство не должно вмешиваться в денежные дела, то ему следует ограничиться лишь обеспечением устойчивости монеты. Лишь на основании этого аргумента он смог утверждать, что экономика является отдельной сферой научных изысканий со своими принципами и законами, а значит, отличается, допустим, от этики или политики.

Утверждение Смита стоит разобрать подробно, потому что, на мой взгляд, оно является основополагающим мифом экономической науки.

Сначала Смит задается вопросом: а что, собственно говоря, лежит в основе экономической жизни? Это «некоторая склонность человеческой природы... склонность к мене, торговле, к обмену одного предмета на другой». У животных ее нет. «Никому, – замечает Смит, – никогда не приходилось видеть, чтобы собака сознательно менялась костью с другой собакой»^[23]. Однако люди, оказавшись предоставлены сами себе, неизбежно начнут обмениваться вещами и сравнивать их. Этим люди и занимаются. Даже логика и беседа представляют собой лишь формы обмена, и в них, как и во всем прочем, люди всегда будут стремиться к собственной выгоде^[24].

Эта тяга к обмену, в свою очередь, приводит к разделению труда, которому человечество обязано всеми своими достижениями и самим появлением цивилизации. Здесь изложение переносится в еще одну из далеких воображаемых стран экономистов: она похожа на нечто среднее между землями, населенными североамериканскими индейцами, и территорией, где проживают кочевники-скотоводы Центральной Азии^[25]:

В охотничьем или пастушеском племени один человек изготавливает, например, луки и стрелы с большей быстротой и ловкостью, чем кто-либо другой. Он часто выменивает их у своих соплеменников на скот или дичь; в конце концов он видит, что может таким путем получать больше скота и дичи, чем если сам будет заниматься охотой. Соображаясь со своей выгодой, он делает из выделки луков и стрел свое главное занятие и становится таким образом своего рода оружейником. Другой выделяется своим умением строить и покрывать крышей маленькие хижины или шалаши. Он привыкает помогать в этой работе своим соседям, которые вознаграждают его таким же способом – скотом и дичью, пока наконец он не признает выгодным для себя целиком отдаться этому занятию и сделаться своего рода плотником. Таким же путем третий становится кузнецом или медником, четвертый – кожевником или дубильщиком шкур и кож, главных частей одежды дикарей.

Только тогда, когда появляются опытные изготовители луков, строители вигвамов и т. д., люди начинают видеть в этом проблему. Обратите внимание, как посредством множества приведенных примеров происходит плавный переход от воображаемых дикарей к лавочникам из мелких городков.

Но когда разделение труда только еще начинало зарождаться, эта возможность обмена часто должна была встречать очень большие затруднения. Предположим, что один человек обладал большим количеством определенного продукта, чем сам нуждался в нем, тогда как другой человек испытывал в нем недостаток. Поэтому первый охотно отдал бы часть этого излишка, а второй охотно приобрел бы его. Но если последний в данный момент не имел бы ничего такого, в чем нуждается первый, то между ними не могло бы произойти никакого обмена. Мясник имеет в своей лавке больше мяса, чем сам может потребить, а пивовар и булочник охотно купили бы каждый часть этого мяса; они не могут ничего предложить ему в обмен...

<...>

В целях избежания таких неудобных положений каждый разумный человек на любой ступени развития общества после появления разделения труда, естественно, должен был стараться так устроить свои дела, чтобы постоянно наряду с особыми продуктами своего собственного промысла иметь некоторое количество такого товара, который, по его мнению, никто не откажется взять в обмен на продукты своего промысла^[26].

Так что каждый неизбежно начнет копить нечто, что, как ему кажется, захотят все, – это парадоксальное следствие, потому что в определенный момент стоимость этого товара начнет не падать (поскольку у каждого он есть), а, наоборот, расти (потому что он превращается в деньги):

Как передают, в Абиссинии обычным средством торговли и обмена служит соль; на берегах Индии таким средством служат раковины особого вида, в Ньюфаундленде – сушеная треска, в Виргинии – табак, в некоторых наших вест-индских колониях – сахар, в некоторых других странах –

шкуры или выделанная кожа, и, как мне рассказывали, в настоящее время в Шотландии существует деревня, где рабочий нередко вместо денег приносит в булочную или пивную гвозди^[27].

Иногда, по крайней мере в международной торговле, это приводит к использованию драгоценных металлов, которые идеально подходят на роль денег: они долговечны, их удобно перевозить и можно до бесконечности делить на равные доли.

Различные народы пользовались для указанной цели различными металлами. Древние спартанцы употребляли в качестве средства обмена железо, древние римляне пользовались для этого медью; золотом и серебром пользовались все богатые и торговые народы.

<...>

Первоначально, по-видимому, металлы употреблялись для этой цели в слитках, а не в монете...

<...>

Пользование такими слитками металла сопровождалось двумя очень значительными неудобствами: во-первых, трудностью взвешивать металл и, во-вторых, трудностью определения его пробы. По отношению к драгоценным металлам, когда даже ничтожная разница в количестве обуславливает громадную разницу в их стоимости, самое взвешивание с надлежащей точностью требует по крайней мере очень точных весов и гирь. Взвешивание золота в особенности представляет собою очень кропотливую и тонкую операцию...^[28]

Легко понять, к чему все это ведет. Использовать металлические слитки неравного размера проще, чем вести меновую торговлю. Но не будет ли еще легче использовать стандартизированные единицы, например штампованные кусочки металла различного достоинства с единообразными обозначениями, гарантирующими их вес и пробу? Конечно, да – так и появилась чеканка монет. Появление чеканки подразумевало участие правительств, ведь именно они, как правило, управляли монетными дворами; но в стандартной версии этой истории правительства играли лишь ограниченную роль: они должны были обеспечивать денежное обращение и делали это, как правило, плохо. На протяжении истории короли беззастенчиво мошенничали, допуская порчу монеты и вызывая тем самым инфляцию и различные политические трудности в том, что изначально было лишь вопросом здравого экономического смысла.

Что характерно, эта история сыграла ключевую роль не только в создании экономической науки, но и в возникновении самой идеи о том, что есть нечто под названием «экономика», действующее по своим собственным правилам и отделенное от нравственной или политической жизни, и что это нечто экономисты могут считать своей сферой деятельности. «Экономика» – это когда мы поддаемся нашей естественной склонности к обмену и торговле. Мы продолжаем торговать и заниматься обменом. И всегда будем. Деньги просто самое эффективное средство для этого.

Такие экономисты, как Карл Менгер и Стенли Джевонс, позже усовершенствовали эту историю, введя в нее различные математические уравнения, которые должны были показать, что случайно собранные вместе люди с самыми разными желаниями в теории могут не только выбрать один товар, который будут использовать в качестве денег, но и создать единую систему цен. В эти уравнения они добавили еще и впечатляющее количество самых разных технических терминов (например, «затруднения» превратились в «операционные издержки»). Однако самое главное в том, что теперь большинство людей считают эту историю воплощением здравого смысла. Мы рассказываем ее детям в учебниках и музеях. Ее

знают все. «Однажды была меновая торговля. Это было неудобно. Поэтому люди изобрели деньги. Затем стали развиваться банковское дело и кредит». Все это образует прямолинейную прогрессию, процесс все большего усложнения и абстрагирования, который неотвратимо должен был привести человечество от обмена мамонтовыми бивнями в Каменном веке к фондовым рынкам, хедж-фондам и обеспеченным деривативам^[29].

Такое представление царит повсеместно. Везде, где есть деньги, мы сталкиваемся с этой историей. Однажды в городе Аривонимамо, на Мадагаскаре, я удостоился чести взять интервью у Каланоро, крохотного похожего на привидение существа, которое один местный медиум якобы держал в сундуке у себя дома. Этот дух принадлежал брату известной в тех краях ростовщицы, ужасной женщине по имени Нордина; честно говоря, я не горел желанием общаться с этим семейством, но некоторые мои друзья меня убедили – в конце концов, это был дух из былых времен. Дух вещал из-за ширмы жутковатым дребезжащим голосом, словно доносившимся с того света. Говорить ему было интересно только о деньгах. Когда весь этот фарс окончательно вывел меня из себя, я спросил: «Так что вы использовали в качестве денег в прежние времена, когда вы еще были живы?»

Таинственный голос немедленно ответил: «Нет, деньги мы не использовали. В прежние времена мы обменивались друг с другом товарами напрямую...»

* * *

Так что эта история встречается повсюду. Это миф, лежащий в основе нашей системы экономических отношений. Он настолько прочно утвердился в сознании, даже в таких местах, как Мадагаскар, что большинство людей на планете и представить себе не могут, что деньги могли появиться как-то еще.

Проблема в том, что доказательств, подтверждающих эту историю, нет, зато есть огромное количество фактов, ее опровергающих.

Уже несколько веков исследователи пытаются найти сказочную страну меновой торговли – все безуспешно. Адам Смит приписал свою историю аборигенам Северной Америки (другие предпочитали Африку или Тихий океан). Можно было бы сказать, что по крайней мере во времена Смита в шотландских библиотеках не было надежной информации об экономических системах американских индейцев. Но в середине XIX века Льюис Генри Морган опубликовал свое описание Лиги ирокезов, в котором четко показал, что основным экономическим институтом ирокезов были длинные дома, где складировалась большая часть товаров, распределявшихся затем женскими советами, – никто никогда не обменивал наконецники стрел на куски мяса. Экономисты просто игнорировали эту информацию^[30]. Например, Стенли Джевонс, написавший в 1871 году книгу, которую стали считать классическим исследованием о происхождении денег, брал примеры прямо из труда Смита – у него индейцы тоже обменивали оленину на лосятину и бобровые шкуры – и не использовал современные ему описания жизни индейцев, которые доказывали, что Смит это просто выдумал. Приблизительно в то же время миссионеры, искатели приключений и колониальные администраторы блуждали по всему миру, многие из них с книгой Смита в руках, в надежде найти страну меновой торговли. Никому это не удалось. Они обнаружили бесчисленное количество экономических систем. Но до сегодняшнего дня никто не сумел найти край, где стандартная форма экономических сделок между соседями выражалась бы формулой «за эту корову я дам тебе двадцать кур».

Кэролин Хамфри из Кембриджского университета в своей исчерпывающей работе о меновой торговле приходит к однозначному выводу: «Не было описано ни одного случая бартерной экономики в чистом виде и появления на ее основе денег; все имеющиеся у нас этнографические данные свидетельствуют о том, что такого никогда не было»^[31].

В то же время все это вовсе не означает, что меновой торговли не существует или что ее не ведут люди, которых Смит назвал бы «дикарями». Это лишь означает, что ее почти никогда не ведут между собой односельчане, как думал Смит. Обычно такой обмен происходит между чужаками или даже врагами. Начнем с индейцев намбиквара, живущих в Бразилии. Они соответствуют всем необходимым критериям: это простое общество со слабо развитым разделением труда, состоящее из небольших групп, каждая из которых насчитывает не больше сотни человек. Иногда, когда одна группа замечает неподалеку костры, разведенные другой, она отправляет посланников с предложением совершить обмен. Если оно принимается, мужчины первой группы прячут женщин и детей в лесу, а затем приглашают мужчин второй группы на свою стоянку. У каждой группы есть вождь; когда все собираются вместе, каждый вождь произносит формальную речь, в которой восхваляет чужую группу и принижает свою. Отложив оружие в сторону, те и другие поют и танцуют вместе – хотя танец имитирует боевое столкновение. Затем представители обеих сторон сходятся вместе и начинается торговля:

Если человек хочет получить какой-то предмет, он хвалит его, подчеркивая его красоту. Если владелец высоко ценит свою вещь и хочет получить много в обмен, то он не говорит, что она ценна, а, напротив, утверждает, что она нехороша, и показывает, что хочет оставить ее себе. «Это плохой топор, он очень старый, он затупился», – скажет он о своем топоре, который понравился другому.

Торг ведется в раздраженном тоне до тех пор, пока стороны не приходят к соглашению. Когда оно достигнуто, каждый выхватывает предмет из рук другого. Если один согласился отдать ожерелье, то другой должен не просто взять его, а отнять, показав силу. Споры, часто переходящие в потасовки, происходят тогда, когда одна из сторон действует торопливо и хватает предмет до того, как завершается торг^[32].

Все заканчивается большим пиром, на который приходят и женщины, но это тоже может вызвать проблемы, потому что в праздничной обстановке, под звуки музыки их могут начать соблазнять^[33]. Иногда это приводит к конфликтам на почве ревности и даже к убийствам.

Получается, что, несмотря на элементы праздника, меновая торговля велась между людьми, которые могли быть врагами и находились в шаге от полноценного конфликта; и, если верить этнографам, в случаях, когда одна из сторон считала, что ее обхитрили, это легко могло привести к настоящей войне.

Теперь перенесемся на другой край Земли – в Западный Арнемленд, в Австралию. Живущий здесь народ гунвингу известен тем, что проводит со своими соседями ритуалы церемониального обмена под названием *дзамалаг*. Здесь угроза применения насилия выражена намного слабее – отчасти потому, что ситуация облегчается наличием системы кровнородственных связей, которая охватывает весь регион: никому не дозволяется жениться на представительницах своей родственной секции или заниматься с ними сексом вне зависимости от того, откуда они. Но любой человек из другой секции может быть потенциальным партнером. Таким образом, для мужчины даже в общинах, проживающих далеко от его собственной, контакты с одной половиной женщин строго запрещены, а с другой – допустимы. Регион также объединяет местная специализация: у каждого племени есть свой товар, которым оно обменивается с другими племенами.

Ниже я привожу выдержку из описания *дзамалага*, которое в 1940-х годах дал антрополог Рональд Берндт.

Здесь обмен тоже начинается тогда, когда, после первоначальных переговоров, чужаков приглашают на главную стоянку хозяев. В данном конкретном случае гости славились своими «ценными зазубренными копьями», а хозяева располагали хорошей европейской одеждой. Сначала группа гостей, состоящая из мужчин и женщин, вступает на танцевальную площадку стоянки, или в «круг», и трое из них начинают развлекать хозяев музыкой. Двое мужчин поют, а третий аккомпанирует им на *диджериду*. Вскоре приходят женщины принимающей стороны и нападают на музыкантов:

Мужчины и женщины встают и начинают танцевать. *Дзамалаг* завязывается тогда, когда две женщины гунвингу из родственной секции, противоположной той, к которой относятся певцы, «дают им *дзамалаг*»: они дарят каждому мужчине какой-нибудь предмет одежды, ударяют его или касаются и увлекают на землю, называя его своим *дзамалаг-мужем* и заигрывая с ним. Затем другая женщина из секции, противоположной той, к которой принадлежит мужчина, играющий на трубе, дает ему одежду, ударяет и заигрывает с ним.

Это кладет начало *дзамалагу*. Гости сидят спокойно, пока женщины из противоположной родственной секции подходят к ним, дают одежду, ударяют их и склоняют к соитию; в обстановке веселья, подбадриваемые аплодисментами, они позволяют себе любые вольности с мужчинами, пока продолжаются пение и танцы. Женщины пытаются развязать набедренные повязки мужчин или коснуться их пениса и увести их за пределы «круга», чтобы совокупиться с ними. Мужчины, делая вид, что сопротивляются, удаляются со своими *дзамалаг-партнершами* и совокупаются с ними в кустах подальше от огней, что освещают танцоров. Они могут дать женщинам табак или бусы. Когда женщины возвращаются, они отдают часть этого табака своим мужьям, которые побуждали их принять участие в *дзамалаге*. Мужчины, в свою очередь, расплачиваются табаком со своими *дзамалаг-партнершами*^[34].

Выходят новые певцы и музыканты, на них снова набрасываются, а потом увлекают в кусты; мужчины призывают своих жен «не скромничать» и подтвердить репутацию гунвингу как радушных хозяев; они и сами проявляют инициативу по отношению к женам гостей, предлагают им одежду, ударяют их и уводят в кусты. Бусы и табак переходят из рук в руки. Наконец, когда все участники совокупились хотя бы по одному разу и гости остались довольны приобретенной одеждой, женщины прекращают танец и встают в два ряда; гости выстраиваются в линию, чтобы отплатить им.

Затем мужчины-гости из одной родственной секции танцуют перед женщинами из противоположной секции, чтобы «дать им *дзамалаг*». Они держат наперевес копьё с лопатообразными наконечниками и делают вид, что вонзают их в женщин, но на деле лишь ударяют их наконечниками плашмя. «Мы не будем вас пронзать, ибо мы уже пронзили вас своими пенисами». Они дарят копьё женщинам. Затем мужчины-гости из другой родственной секции проделывают те же действия с женщинами из противоположной им секции и дают им копьё с зазубренными наконечниками. Этим церемония завершается, после чего следуют щедрая раздача еды^[35].

Очень яркий пример, но именно такие случаи показательны. Благодаря относительно дружеским отношениям между народами, соседствующими друг с другом в Западном Арнемленде, гунвингу удается преобразовать все элементы меновой торговли намбиквара

(музыка и танцы, потенциальная враждебность, сексуальная интрига) в своего рода праздничную игру. Возможно, она не лишена опасностей, зато, как подчеркивает этнолог, все участники считают ее отличным развлечением.

У всех подобных случаев меновой торговли есть общая черта: они представляют собой встречи с чужаками, которые никогда не повторяются, а значит, не будет и каких-либо постоянных отношений. Именно поэтому прямой обмен здесь наиболее уместен: каждая сторона выменивает то, что хочет, и уходит. Все это становится возможным благодаря установлению контакта через совершение коллективных действий, приносящих удовольствие: через музыку и танцы, с которых обычно начинается празднество, всегда служащее прологом к торговле. Затем завязывается собственно торг, в котором обе стороны проявляют скрытую враждебность, неизбежно присутствующую во всяком обмене материальными предметами между чужаками, и в котором ни у одной из сторон нет причин *не* получить выгоду за счет другой посредством мнимой агрессии; хотя в случае с индейцами намбиквара, у которых формы установления контакта очень ограничены, мнимая агрессия постоянно грозит перерасти в настоящую. Гунвингу, с их более легким отношением к сексуальности, проявили изобретательность и объединили в одно целое агрессию и коллективные действия, приносящие удовольствие.

А теперь вспомните фразы из учебников по экономике: «Представьте себе общество без денег», «Представьте себе экономику, основанную на меновой торговле». Эти примеры со всей очевидностью доказывают одно: воображение у большинства экономистов очень ограничено^[36].

Почему? Проще всего ответить так: потому, что для самого существования дисциплины под названием «экономика», которая стремится в первую очередь выяснить, как люди пытаются заключить наиболее выгодное соглашение по обмену ботинок на картошку или одежды на копья, нужно допустить, что такой обмен не имеет ничего общего с войной, страстями, приключениями, тайнами, сексом или смертью. Экономика проводит между различными сферами человеческого поведения разграничение, которого просто не существует у народов вроде гунвингу или намбиквара. Это разграничение, в свою очередь, становится возможным благодаря весьма специфическим институциональным механизмам вроде юристов, тюрем и полиции, которые следят за тем, чтобы люди, не особо друг друга любящие и не заинтересованные в развитии каких-либо долгосрочных отношений, а просто стремящиеся захватить максимальное количество чужой собственности, все же удерживались от того, чтобы давать волю рукам (т. е. красть). Ну а это позволяет нам предположить, что жизнь четко разделена на сферу рынка, куда мы ходим за покупками, и «сферу потребления», к которой относятся наше увлечение музыкой и стремление к праздникам и к флирту. Иными словами, идея, из которой исходят все учебники по экономике и в распространении которой Адам Смит сыграл такую важную роль, стала столь важной частью общепринятых представлений, что мы с трудом можем себе вообразить, что все может быть иначе.

Из приведенных нами примеров становится ясно, почему обществ, основанных на меновой торговле, не бывает. Такое общество могло бы существовать, только если каждый был бы в шаге от того, чтобы вцепиться в глотку другому; постоянно был бы готов нанести удар, но всякий раз воздерживался бы от этого. Меновая торговля действительно иногда ведется между людьми, которые не считают друг друга чужаками, но эти люди легко могли бы ими быть, поскольку не испытывают по отношению друг к другу ни ответственности, ни взаимного доверия и не желают развивать долгосрочные отношения. Например, пуштуны Северного Пакистана славятся своим радушием и гостеприимством. Меновая торговля здесь ведется между людьми, *не* связанными узами гостеприимства (или родства, или чего-либо еще):

Излюбленной формой обмена является меновая торговля, или адал-бадал (давать-брать). Люди всегда готовы обменять какую-нибудь свою вещь на что-нибудь получше. Часто обмениваются подобными вещами: радиоприемниками, солнечными очками, часами. Однако обмен может вестись и несхожими предметами, например за велосипед могут дать двух ослов. Адал-бадал никогда не ведется между родственниками, что позволяет участникам получить удовольствие от выгодного для себя обмена. Человек, который считает, что совершил хорошую сделку, гордится и хвастается этим. Если обмен оказался невыгодным, то незадачливый участник сделки пытается от нее отказаться или, в случае неудачи, сбыть некачественный предмет тому, кто этого не подозревает. Лучший партнер по адал-бадалу – тот, что живет далеко и потому вряд ли будет жаловаться^[37].

Такими беззастенчивыми мотивами руководствуются не только в Центральной Азии. Они часть самой природы меновой торговли; именно этим объясняется, что за одно-два столетия до эпохи Смита английские слова «мена» («truck») и «меновая торговля» («barter»), равно как и их эквиваленты во французском, испанском, немецком, голландском и португальском языках, дословно означали «обман, мошенничество или надувательство»^[38]. Обменивают напрямую одну вещь на другую, стремясь при этом получить максимальную выгоду от сделки, тогда, когда имеют дело с людьми, которых вряд ли увидят когда-либо еще. Почему бы *не* обхитрить такого человека? Если же ты заботаешься о ком-то, будь то сосед или друг, и хочешь вести дела с ним открыто и честно, то ты неизбежно будешь также принимать во внимание его личные потребности, желания и положение. Даже если ты обмениваешься с ним вещами, то постарайся представить это в виде подарка.

* * *

Чтобы объяснить, что я имею в виду, вернемся к учебникам по экономике и к проблеме «двойного совпадения потребностей». Мы оставили Генри, когда ему была нужна пара ботинок, а дома у него завалилось всего несколько картофелин. У Джошуа была лишняя пара ботинок, но картошка ему была не нужна. Деньги еще не изобретены, и у них возникла проблема. Как они поступят?

Прежде всего мы должны узнать немного больше о Джошуа и Генри. Кто они? Связывает ли их что-либо? Если да, то что? Видимо, они живут в небольшом поселке. У двух человек, всю жизнь живущих в одном и том же поселке, должна быть сложная история взаимоотношений. Кто они друг другу – приятели и друзья или соперники, союзники или враги либо все сразу вместе?

Авторы исходного примера, очевидно, имеют в виду двух соседей, приблизительно равных по социальному статусу, не очень тесно связанных друг с другом, но находящихся в дружеских отношениях, – т. е. ситуация максимально близка к нейтральному равенству. Но это еще ни о чем не говорит. Например, если бы Генри жил в ирокезском длинном доме и ему были бы нужны ботинки, Джошуа не стал бы даже заходить туда; он просто упомянул бы об этом в разговоре с женой, которая обсудила бы вопрос с другими матронами, взяла бы необходимые материалы на общем складе длинного дома и сшила бы ему обувь сама. Или же, чтобы сценарий соответствовал тому, что описывается в учебниках по экономике, мы должны поместить Джошуа и Генри в маленькую общину вроде группы намбиквара или гунвингу:

СЦЕНАРИЙ 1

Генри подходит к Джошуа и говорит: «Отличные ботинки!» Джошуа отвечает: «Не так уж они хороши, но, раз они тебе нравятся, бери». Генри берет ботинки. Картошка Генри в разговоре не упоминается, поскольку обе стороны прекрасно знают, что, если у Джошуа закончится картошка, Генри ему ее даст и так.

Вот и все. Конечно, в этом случае не ясно, как долго ботинки будут находиться у Генри. Это может зависеть от того, насколько они красивы. Если это обычная обувь, то дело на этом может и кончиться. Если же они уникальны или очень красивы, то они могут начать переходить из рук в руки. Есть один известный рассказ о том, как Джон и Лорна Маршаллы, изучавшие бушменов пустыни Калахари в 1960-х годах, однажды дали нож одному из своих лучших информаторов. Потом они уехали, а когда вернулись год спустя, то обнаружили, что за это время практически каждый член группы успел побывать владельцем ножа. С другой стороны, мои арабские друзья подтверждают, что в менее эгалитарном обществе это обычный прием, чтобы получить то, что хочется. Если другу нравится твой браслет или кольцо, то считается, что ты должен тут же сказать: «Возьми его»; но, если ты хочешь оставить его у себя, ты всегда можешь сказать: «Красивый, правда? Это подарок».

Однако, судя по всему, авторы учебника имели в виду сделку, носящую более безличный характер. Они представляют себе двух глав патриархальных семейств, поддерживающих хорошие отношения и располагающих собственными запасами. Возможно, они живут в одном из шотландских сел, где также есть мясник и пекарь из примеров Адама Смита, или в колониальном поселении в Новой Англии. С той лишь поправкой, что о деньгах они никогда не слышали. Конечно, это чистая фантазия, но давайте посмотрим, что из этого получится:

СЦЕНАРИЙ 2

Генри подходит к Джошуа и говорит: «Отличные ботинки!» Или – придадим этой истории более реалистичный вид – жена Генри болтает с супругой Джошуа и намеренно роняет фразу о том, что ботинки Генри просят каши.

Это доходит до ушей Джошуа, который на следующий день предлагает Генри в подарок лишнюю пару своих ботинок, настаивая на том, что это просто дружеский жест. Ничего взамен ему, разумеется, не нужно.

Неважно, насколько искренне Джошуа это говорит. Своим поступком Джошуа оказывает услугу, и Генри теперь будет ему обязан.

Как Генри оплатит Джошуа? Для этого есть бесконечное количество возможностей. Возможно, Джошуа действительно нужна картошка. Выждав какое-то время, Генри дает ему ее, настаивая на том, что это просто подарок. Или сейчас Джошуа картошка не нужна и Генри ждет до тех пор, пока она ему понадобится. Или же год спустя Джошуа решит устроить банкет и, прогуливаясь однажды у скотного двора Генри, скажет: «Отличная свинья...»

В любом из этих сценариев проблема «двойного совпадения потребностей», о которой так часто идет речь в учебниках по экономике, просто-напросто исчезает. У Генри может

не быть того, что Джошуа нужно сейчас. Но если они соседи, то через какое-то время ему понадобится что-то, что есть у Генри^[39].

Это, в свою очередь, означает, что упоминаемая Смитом необходимость складировать предметы, которые все готовы принять в качестве оплаты, тоже исчезает, а с ней пропадает и необходимость изобретать деньги. Как и во многих современных мелких общинах, каждый просто ведет учет того, кто что и кому должен.

Здесь есть одна большая концептуальная проблема, которую внимательный читатель, возможно, заметил. Генри «чем-то обязан Джошуа». Чем именно? Как можно измерить оказанную услугу? На основе чего можно сказать, что стоимость такого-то количества картошки или свиньи таких-то размеров более или менее соответствует стоимости пары ботинок? Ведь даже если все это остается лишь грубым приближением, должен быть *какой-нибудь* способ, чтобы установить, что *икс* приблизительно равен игреку, или немного лучше, или хуже. Не подразумевает ли это, что должно существовать что-то похожее на деньги, выполняющее хотя бы функцию единицы измерения, при помощи которой можно сравнить стоимость различных предметов?

В экономиках дарения есть довольно примитивный способ решения этой проблемы. Устанавливается ряд классификационных категорий для *типов* вещей. Свиньи и обувь могут считаться предметами приблизительно равного статуса: ими можно легко обмениваться. Коралловое ожерелье совсем другое дело; за него нужно давать другое ожерелье или по крайней мере другой ювелирный предмет – антропологи обычно называют это установлением различных «сфер обмена»^[40]. Это до некоторой степени упрощает ситуацию. Когда меновая торговля между различными культурами приобретает регулярный характер, она, как правило, ведется в соответствии со схожими принципами: есть определенные виды вещей, которые обмениваются на другие (например, одежда на копья). Это облегчает процесс выработки традиционных эквивалентов, однако не решает проблему появления денег, а лишь усложняет ее. Зачем складировать соль, золото или рыбу, если их можно обменивать только на определенные вещи и ни на какие другие?

На самом деле есть все основания полагать, что меновая торговля – феномен, который вовсе не существовал в древние времена, а получил распространение лишь в относительно недавнем прошлом. В большинстве известных нам случаев он действительно имеет место между людьми, привыкшими к использованию денег, но по тем или иным причинам не имеющими к ним доступа. Сложные системы обмена часто возникают после краха национальных экономик: так было в России в 1990-е годы и в Аргентине в 2002 году, когда в первом случае рубли, а во втором – доллары просто исчезли^[41]. Иногда в таких условиях могут возникать определенные виды денег: например, известно, что в лагерях для военнопленных и во многих тюрьмах заключенные использовали в качестве таковых сигареты, к вящей радости профессиональных экономистов. Но в данном случае мы снова говорим о людях, которые привыкли к деньгам и теперь вынуждены без них обходиться, – это ровно та вымышленная ситуация из учебников по экономике, с которой я начал^[42].

Чаще проблема решается путем введения какой-либо кредитной системы. Судя по всему, это произошло, когда значительная часть Европы «обратилась к меновой торговле» после крушения Римской империи, а затем снова стала распадаться на части после заката империи Каролингов. Люди продолжали вести расчеты в старой имперской монете, хотя уже и не использовали ее^[43]. Точно так же пуштуны, которые любят менять велосипеды на ослов, вряд ли незнакомы с использованием денег. Деньги существовали в этой части мира на протяжении тысяч лет. Они просто предпочитают прямой обмен между равными по статусу людьми – в данном случае потому, что считают его более достойным мужским занятием^[44].

Примечательно, что даже в примерах Адама Смита, где рыба, гвозди и табак используются в качестве денег, происходит то же самое. После издания «Богатства народов» ученые

исследовали большинство таких случаев и обнаружили, что почти в каждом из них люди, участвовавшие в обмене, имели привычку использовать деньги и на самом деле *использовали* их в качестве расчетной единицы^[45]. Возьмем пример сушеной трески, которая предположительно использовалась в качестве денег в Ньюфаундленде. Как отмечал британский дипломат А. Митчелл-Иннес почти столетие назад, описание Смита – действительно иллюзия, созданная простым предоставлением кредита:

На ранних этапах рыбного промысла в Ньюфаундленде не было постоянного европейского населения. Рыбаки приезжали сюда только на рыболовный сезон, а те, кто не был рыбаком, были торговцами, которые покупали сушеную рыбу и торговали предметами, в которых нуждались рыбаки. Последние продавали торговцам свой улов по рыночной цене в фунтах, шиллингах и пенсах, а взамен получали кредит в расчетных книгах торговцев, при помощи которого оплачивали свои покупки. Оставшиеся задолженности торговцев перед рыбаками оплачивались посредством платежных поручений в Англии или во Франции^[46].

То же самое происходило в шотландской деревне. Никто не приходил в местный паб, не швырял на стойку кровельный гвоздь и не требовал за него пинту пива. Наниматели во времена Смита часто не располагали монетами для оплаты труда своих рабочих; зарплаты могли задерживаться по году и более; поэтому допускалось, чтобы работодатели отдавали им часть своих собственных товаров или остатки рабочих материалов, дрова, ткани, веревки и т. д. Гвозди, по сути дела, были процентами по долгу нанимателей перед рабочими. Когда ситуация позволяла, работодатели приходили в паб с записной книжкой и сумкой с гвоздями, чтобы погасить часть долга. Закон, разрешивший использовать в Виргинии табак в качестве платежного средства, видимо, представлял собой попытку плантаторов вынудить местных купцов принимать их товар в качестве уплаты кредита во время сбора урожая. Закон действительно заставил всех виргинских купцов превратиться в посредников в табачном бизнесе, хотели они того или нет; точно так же купцам Вест-Индии пришлось начать торговать сахаром, поскольку именно им расплачивались по своим долгам все их наиболее состоятельные клиенты.

Так что изначально люди изобретали кредитные системы потому, что настоящих денег – золотых и серебряных монет – не хватало. Но самый сильный удар по общепринятой версии экономической истории нанесла расшифровка сначала египетских иероглифов, а затем клинописи Месопотамии, расширившая горизонт научных знаний о письменной истории почти на три тысячелетия, от времен Гомера (около 800 года до н. э.), до которых она доходила в эпоху Смита, приблизительно до 3500 года до н. э. Эти тексты показали, что кредитные системы такого рода появились на тысячи лет *раньше*, чем чеканка монет.

О месопотамской системе мы располагаем более полной информацией, чем о египетской системе времен фараонов (похожей на месопотамскую), китайской системе эпохи Шан (о которой мы знаем мало) или системе цивилизации долины Инда (о которой мы вообще ничего не знаем). Как часто бывает, о Месопотамии мы много знаем потому, что большинство клинописных табличек касалось финансовых вопросов.

В шумерской экономике доминировали крупные дворцовые и храмовые комплексы. Зачастую в них работали тысячи человек: священники и чиновники, ремесленники, трудившиеся в мастерских комплексов, скотоводы и крестьяне, обрабатывавшие обширные земельные владения, которые принадлежали дворцам и храмам. Даже несмотря на то, что древний Шумер был раздроблен на множество независимых городов-государств, ко времени, когда над месопотамской цивилизацией поднимается занавес истории, а именно к 3500 году до н. э., храмовые управители, по-видимому, уже разработали единообразную систему учета –

ее элементами мы пользуемся до сих пор, ведь именно шумерам мы обязаны такими понятиями, как дюжина или 24-часовой день^[47]. Базовой денежной единицей был серебряный сикель. Его вес был равен одному гуру, или бушелю ячменя. Сикель делился на 60 мин, каждая из которых соответствовала одной порции ячменя: поскольку месяц состоял из 30 дней, то каждый храмовый работник ежедневно получал по две порции ячменя. Легко заметить, что «деньги» в данном случае не являются продуктом торговых сделок. Они были созданы бюрократами для того, чтобы отслеживать использование ресурсов и распределять вещи.

Храмовые бюрократы использовали эту систему, чтобы устанавливать размер долгов (ренд, сборов, займов и т. д.) в серебре. Серебро, собственно, и было деньгами. И оно действительно обращалось в виде необработанных брусков, или в «слитках», по определению Смита^[48]. В этом он был прав. Но это единственное, в чем он был прав. Обращение серебра было довольно ограниченным. В основном оно оседало в храмовых и дворцовых сокровищницах, причем часть его тщательно хранилась в одном и том же месте на протяжении тысяч лет. Было бы довольно просто стандартизировать слитки, штамповать их и создать какую-нибудь надежную систему, которая гарантировала бы их пробу. Технологии для этого были. Но никто в этом не видел особой необходимости. Одна из причин заключалась в том, что, хотя долги исчислялись в серебре, они не должны были *выплачиваться* серебром – их могли выплачивать вообще чем угодно. Крестьяне, которые были должны денег храму, или дворцу, или же какому-нибудь храмовому либо дворцовому чиновнику, долги возвращали в основном ячменем, поэтому установление соотношения серебра к ячменю имело такое значение. Но долг можно было погасить и козами, мебелью или лазуритом. Храмы и дворцы были крупными промышленными центрами и могли найти применение почти всему^[49].

На рынках, возникших в городах Месопотамии, цены тоже рассчитывались в серебре, а цены на товары, которые не полностью контролировались храмами и дворцами, колебались в зависимости от соотношения спроса и предложения. Но даже там, как показывают факты, большинство сделок основывалось на кредите. Купцы (которые иногда работали на храмы, а иногда действовали независимо) были из числа тех немногих, кто часто использовал серебро, но даже они совершали большую часть своих сделок в кредит, а обычные люди, покупая пиво у трактирщиц или хозяев постоянных дворов, записывали его на свой счет и во время урожая возвращали долг ячменем или тем, что у них было под рукой^[50].

Эти аргументы разносят в пух и прах общепринятую историю о происхождении денег. Редко когда историческая теория оказывалась насколько несостоятельной. Уже в начале XX века имелись все необходимые элементы для того, чтобы полностью переписать историю денег. Основе для этого заложил Митчелл-Иннес – тот самый, чье описание использования трески я цитировал выше – в двух эссе, опубликованных в нью-йоркском «Журнале банковского права» в 1913 и 1914 годах. В них Митчелл-Иннес сухо опроверг ложные представления, на которых зиждилась экономическая история, и высказал мысль о том, что писать нужно историю долга:

Согласно одному из распространенных заблуждений, касающихся торговли, средство для сбережения денег под названием «кредит» было создано в современную эпоху, а до этого все покупки оплачивались наличными, т. е. монетами. Внимательное исследование показывает, что все было ровно наоборот. В прежние времена монеты играли намного меньшую роль в торговле, чем теперь. Количество монет было так ограничено, что их не хватало даже на удовлетворение потребностей королевского дома (Англии в Средние века) и сословий, которые регулярно использовали жетоны разного рода для того, чтобы осуществлять мелкие платежи. Объемы чеканки были столь незначительны, что иногда короли не колеблясь

собирали все монеты и переплавляли, при этом торговля продолжала идти своим чередом^[51].

Наше устоявшееся представление об истории денег перевернуто с ног на голову. Мы не начинали с меновой торговли, потом изобрели деньги, а затем стали развивать кредитные системы. Все было ровно наоборот. Сначала появились те деньги, которые мы называем виртуальными. Монеты появились намного позже, их распространение было неравномерным, и им так и не удалось полностью вытеснить кредитные системы. А меновая торговля является скорее случайным следствием использования монет или бумажных денег: исторически ее вели люди, которые привыкли к сделкам с наличностью, но по тем или иным причинам не имели к ней доступа.

Любопытно, что эта новая история так и не была написана. Митчелл-Иннеса экономисты опровергать не стали – они его просто игнорировали. История, излагаемая в учебниках, осталась прежней, хотя все факты свидетельствовали о ее ошибочности. Люди продолжают писать истории денег, представляющие собой истории чеканки монет, в которых все повторяется; периоды, когда чеканка практически прекращалась, описываются как времена, когда экономика «возвращалась к меновой торговле», как если бы смысл этой фразы был очевиден, хотя никто на самом деле не знает, что она означает. В результате мы не можем себе представить, как, скажем, в 950 году житель нидерландского города покупал сыр или ложки или нанимал музыкантов на свадьбу своей дочери, и уж тем более, как это все происходило на острове Пемба или в Самарканде^[52].

Глава 3

Изначальные долги

Поистине, каждый, кто существует, уже по рождению рождается в долгу перед богами, риши, предками и людьми... Тем, что должен совершать жертвоприношения, он рождается в долгу перед богами... А тем, что должен учиться (веде), он рождается в долгу перед риши... А тем, что должен желать потомства, он рождается в долгу перед предками... А тем, что должен давать приют, он рождается в долгу перед людьми.

Шатапатха-брахмана 1.7.2,1–5¹

*Как собираем мы шестнадцатую часть,
Как восьмую, как (весь) долг,
Так собираем мы для Антьи
Весь дурной сон.*

Ригведа 8.47.17²

Причина, по которой нынешние учебники по экономике начинаются с описания воображаемых деревень, состоит в том, что в реальной жизни таких деревень нет. Даже некоторые экономисты были вынуждены признать, что Земли меновой торговли, о которой писал Смит, не существует^[53].

Вопрос в том, почему несмотря ни на что этот миф продолжает существовать. Экономисты давно отвергли другие положения «О богатстве народов», например рабочую теорию стоимости Смита и его критическую оценку акционерных компаний. Почему просто не признать, что миф о меновой торговле – это лишь забавная притча эпохи Просвещения, и не попытаться исследовать изначальные кредитные соглашения или хоть что-то более соответствующее историческим фактам?

На самом деле от мифа о меновой торговле нельзя отказаться, поскольку он играет центральную роль во всей экономической науке.

Вспомним, чего хотел добиться Смит, когда писал свой труд «О богатстве народов». В первую очередь он пытался обосновать право на существование новоявленной экономической дисциплины. Это означало, что она не только имела свою особую сферу исследования, которую мы теперь называем «экономикой» (сама мысль о том, что есть нечто под названием «экономика», во времена Смита была внове); она еще и действовала в соответствии с законами, подобными тем, которые управляют физическим миром и которые незадолго до того открыл сэр Исаак Ньютон. Ньютон представлял Бога в образе небесного часовщика, который создал физический механизм Вселенной, действующий во благо человечества, и затем предоставил его самому себе. Смит пытался вывести закон, подобный Ньютону^[54]. Бог, или, как он выражался, Божественное провидение, устроил дела таким образом, что в условиях свободного рынка нашим стремлением к достижению личного интереса будет руководить «невидимая рука», направляющая его к пользе всего общества. Знаменитая невидимая рука Смита является, как он пишет в своей «Теории нравственных чувств», орудием в руках Божественного провидения. Фактически это рука Господа^[55].

¹ Перевод приводится по изданию: Шатапатха-брахмана. Кн. I. Кн. X (фрагмент) / пер., вступ. ст. и примеч. В.Н. Романова. М.: Восточная литература, 2009. С. 219.

² Перевод приводится по изданию: Ригведа. Т. 2. Мандаты V–VIII / пер. Т.Я. Елизаренковой. (Серия «Литературные памятники».) М.: Наука, 1995.

После того как основы экономической науки были заложены, потребность в теологических доводах отпала. Люди продолжают спорить, действительно ли свободный рынок принесет те плоды, о которых говорил Смит; но никто не задается вопросом, существует ли на самом деле «рынок». Вытекающие из этого понятия исходные допущения стали общепринятыми – настолько, что, как я отмечал, мы просто уверены: когда ценные предметы переходят из рук в руки, то это происходит потому, что два человека решили, будто они оба получают от обмена ими материальную выгоду. Интересным следствием этого стало то, что экономисты стали считать неважным, используются ли, собственно, деньги или нет, поскольку деньги – это всего лишь товар, который призван облегчить обмен и который мы применяем для оценки стоимости других товаров. Иными словами, специфических свойств у него нет. Более того, в 1958 году Пол Сэмюэльсон, один из ведущих ученых неоклассической школы, которая до сих пор преобладает в современной экономической мысли, с презрением отозвался о том, что он называл «выдуманной социальной функцией денег». «Даже в самых развитых индустриальных экономиках, – утверждал он, – если мы сведем обмен к базовым операциям и уберем слой денег, который только сбивает с толку, то мы увидим, что торговля между людьми и странами основывается на меновой торговле»^[56]. Другие говорили о «завесе денег», скрывающей природу «реальной экономики», в которой люди производят реальные товары и услуги и обмениваются ими^[57].

Это – апофеоз общепринятой экономической науки. Деньги неважны. Экономика – «реальные экономики» – на самом деле представляют собой огромные системы меновой торговли. Проблема в том, что, как учит нас история, таких огромных систем меновой торговли без денег не бывает. Даже когда экономики «возвращаются к меновой торговле», как это якобы произошло в Европе в Средние века, они не отказываются от употребления денег. В них перестает использоваться наличность. В Средние века, например, все продолжали определять стоимость инструментов и скота в старых римских монетах, хотя сами эти монеты исчезли из обращения^[58].

Именно деньги дали нам возможность представлять себя такими, какими рисуют нас экономисты, т. е. собранием людей и народов, главным занятием которых является обмен вещами. Очевидно также, что самого по себе существования денег недостаточно для того, чтобы воображать себе мир таким. Если бы он действительно был таким, то экономическая наука была бы создана древними шумерами, ну или, во всяком случае, задолго до 1776 года, когда вышла в свет книга Адама Смита «О богатстве народов».

Недостающим элементом здесь является то, что Смит старался затушевать, а именно роль правительственной политики. В Англии во времена Смита стало возможным рассматривать рынок – мир торговцев мясом, скобяными изделиями и галантерейными товарами – как совершенно обособленную сферу человеческой деятельности, благодаря тому что британское правительство активно поощряло его развитие. Для этого были нужны законы и полиция, а также специфическая монетарная политика, за которую ратовали – причем успешно – либералы вроде Смита^[59]. Она предполагала привязку валюты к серебру и в то же время значительное расширение денежного предложения, прежде всего за счет увеличения количества мелкой монеты в обращении. Это потребовало не только большого количества олова и меди, но и тщательного регулирования банков, которые в те времена были единственными эмитентами бумажных денег. В столетие, предшествовавшее изданию «О богатстве народов», с треском провалились по меньшей мере две попытки создать центральные банки, которые бы пользовались государственной поддержкой: во Франции и в Швеции. В каждом из этих случаев будущий центральный банк выпускал банкноты, руководствуясь спекулятивными соображениями, и терпел крах тогда, когда инвесторы утрачивали к нему доверие. Смит поддерживал использование бумажных денег, но, как и Локк до него, верил, что относительный успех Банка Англии и Банка Шотландии был обусловлен тем,

что они крепко привязали бумажные деньги к драгоценным металлам. Эта идея получила такое распространение среди экономистов, что альтернативные теории, рассматривавшие деньги как кредит, например та, что предлагалась Митчеллом-Иннесом, очень скоро стали считаться маргинальными, а за их сторонниками закрепилась слава чудаков, поскольку стало считаться, что такой подход ведет в первую очередь к появлению плохих банков и спекулятивных пузырей.

Имеет смысл рассмотреть подробнее эти альтернативные теории.

Государство и кредитные теории денег

Митчелл-Иннес был представителем направления, которое вошло в историю как кредитная теория денег. В XIX веке своих самых горячих поборников она обрела не на родине Митчелла-Иннеса, в Великобритании, а в двух быстро развивавшихся державах, которые стали ее соперницами: в Соединенных Штатах и в Германии. Сторонники кредитной теории утверждали, что деньги – это не товар, а инструмент учета. Иными словами, это вовсе не «вещь». К доллару или дойчмарке так же трудно прикоснуться, как к часу или к кубическому сантиметру. Денежные единицы – это лишь абстрактные единицы измерения, и, как справедливо отмечали сторонники кредитной теории, исторически такие абстрактные системы учета появились задолго до каких-либо знаков обмена^[60].

Дальше напрашивается вопрос: если деньги всего лишь измерительная линейка, то что, собственно, они измеряют? Ответ простой: долг. Монета на самом деле представляет собой долговую расписку. В то время как, согласно традиционным представлениям, банкнота является или должна быть обещанием выплатить определенное количество «реальных денег» (золота, серебра или любой другой вещи, наделенной таким смыслом), сторонники кредитной теории полагали, что банкнота – это просто обещание заплатить *нечто* имеющее такую же стоимость, как унция золота. И ничего более. В этом отношении нет принципиальной разницы между серебряным долларом, долларовой монетой Сьюзен Б. Энтони из медно-никелевого сплава, немного похожего на золото, зеленой бумажкой с портретом Джорджа Вашингтона или цифровыми данными, хранящимися в компьютере какого-нибудь банка. Мысль о том, что золотая монета – это всего лишь долговая расписка, довольно трудно доходит до сознания людей, но она отражает действительность, потому что даже в те времена, когда имели хождение золотые и серебряные монеты, они почти никогда не соответствовали стоимости этих металлов.

Как могли появиться кредитные деньги? Вернемся в воображаемый город из учебников по экономике. Допустим, Джошуа отдал свои ботинки Генри. Скорее всего, Генри не будет обязан ему услугой, а пообещает дать что-то равное ботинкам по стоимости^[61]. Генри даст Джошуа долговую расписку. Джошуа может подождать, пока у Генри не появится что-нибудь ценное, чтобы расплатиться по долгу. В этом случае Генри порвет расписку, и дело на этом закончится. Но предположим, что Джошуа передаст расписку третьей стороне – Шейле, которой он должен что-то еще. Она может использовать расписку, чтобы погасить свой долг перед четвертой стороной, Лолой, и тогда Генри будет должен эту сумму ей. Так и появляются деньги, ведь никаких логических ограничений у этого процесса нет. Шейла хочет купить пару обуви у Эдиты; она просто отдает расписку Эдите и уверяет ее, что Генри можно доверять. В принципе нет причин, по которым расписка не могла бы находиться в обращении в этом городе годами, при условии что люди по-прежнему доверяют Генри. Более того, если это продолжается долго, люди вообще могут забыть, кто выдал эту расписку. Такое случается в реальной жизни. Антрополог Кейт Харт однажды рассказал мне историю из жизни своего брата, который в 1950-х годах служил в британских войсках, расквартированных в Гонконге. Чтобы расплатиться по счету в барах, солдаты выписывали чеки на счета, размещенные в Англии. Местные торговцы зачастую просто передавали их друг другу и обращались с ними, как с валютой: однажды он увидел на прилавке местного продавца один из чеков, который он выписал за полгода до того и на котором красовалось около 40 различных мелких надписей по-китайски.

Поборники кредитной теории вроде Митчелла-Иннеса утверждали, что, даже если бы Генри дал Джошуа золотую монету вместо бумажки, ничего бы, в сущности, не изменилось.

В конце концов, люди принимают золотые монеты не потому, что они ценны сами по себе, а потому, что полагают, что их примут и другие люди.

В этом смысле стоимость денежной единицы является не мерой стоимости предмета, а мерой доверия по отношению к другим людям.

Этот элемент доверия, естественно, все усложняет. Обращение первых банкнот происходило почти так, как я только что описал, за тем лишь исключением, что, подобно китайским торговцам, каждый получатель добавлял свою подпись, которая гарантировала законность долга. Но в целом проблема хартальной теории – такое название она получила от латинского слова "charta", т. е. бумага, – заключалась в том, чтобы объяснить, почему люди и дальше продолжали доверять клочку бумаги. В конце концов, почему кто-нибудь не мог просто взять и написать имя Генри на расписке? Такая система долговых расписок могла работать в маленьком селении, где все друг друга знали, или даже в более крупном сообществе вроде итальянских купцов XVI века или китайских торговцев века двадцатого, каждый из которых следил за делами остальных. Но подобные системы не могут положить начало полноценной денежной системе – документальных подтверждений этому нет. Для того чтобы даже в городе средних размеров каждый житель мог осуществлять значительную часть своих ежедневных покупок в такой валюте, потребовались бы миллионы расписок^[62]. Генри должен был бы быть сказочно богат, чтобы все их гарантировать.

В то же время все это было бы намного меньшей проблемой, если бы Генри был, например, Генрихом II, королем Англии, герцогом Нормандии, лордом Ирландии и графом Анжу.

Начальный импульс хартальной теории задали ученые так называемой немецкой исторической школы, самым известным представителем которой был историк Г. Ф. Кнапп, опубликовавший свой труд «Государственная теория денег» в 1905 году^[63]. Если деньги – это единица измерения, то императорам и королям имело смысл самим заниматься ими, ведь они почти всегда стремятся установить в своих владениях единообразные системы мер и весов. Справедливо также замечание Кнаппа о том, что такие системы оказываются очень стабильными на протяжении длительного времени. Во времена Генриха II (1154–1189) практически все в Западной Европе продолжали вести счета, используя систему, введенную Карлом Великим за 350 лет до того, т. е. считая в фунтах, шиллингах и пенсах, даже несмотря на то, что некоторые из этих монет никогда не существовали (Карл Великий никогда не чеканил серебряный фунт) и что в обращении не осталось ни одного шиллинга или пенса, выпущенного при Карле Великом, а те монеты, которые все еще имели хождение, сильно различались по размеру, весу, чистоте пробы и стоимости^[64]. С точки зрения хартальной теории это не имеет особого значения. Важно то, что существует единообразная система измерения кредитов и долгов и что эта система остается стабильной во времени. Пример денег Карла Великого особенно показателен, поскольку его империя распалась довольно быстро, а созданная им денежная система продолжала использоваться для ведения счетов на некогда подвластных ему территориях на протяжении более 800 лет. В XVI веке ее открыто называли «воображаемыми деньгами», а от денье и ливров как от единиц ведения счета отказались лишь во времена Французской революции^[65].

По мнению Кнаппа, не так уж важно, соответствуют ли деньги, действительно находящиеся в обращении, этим «воображаемым деньгам». Нет разницы, выполняют ли роль реальных денег чистое серебро или серебро с примесью, кожаные денежные знаки или сушеная треска, – главное, чтобы государство соглашалось принимать их в качестве уплаты налогов. Ведь то, что государство соглашалось принимать, и становилось деньгами. Одной из основных форм денег в Англии времен Генриха были бирки с зарубками, которые использовались для записи долгов. Бирки, по сути, были долговыми расписками: обе стороны, участвовавшие в сделке, брали прут орехового дерева, делали на нем зарубки, указывавшие размер долга, и затем разрубали его на две части. Та часть, которую забирал кредитор, называлась

"the stock" (отсюда идет термин "stock holder" – «держатель акций»). Часть должника называлась "the stub" (отсюда идет термин "ticket stub" – «отрывной талон»). Налоговые чиновники использовали такие прутья для подсчета сумм, которые должны были выплачивать местные шерифы. Но зачастую казначейство Генриха предпочитало не ждать получения налоговых выплат, а продавало бирки по сниженной цене, и все, кто хотел торговать в обмен на них, могли использовать эти знаки долга перед правительством^[66].

Современные банкноты работают по такому же принципу, только наоборот^[67]. Вспомните нашу притчу о долговой расписке Генри. Читатель, возможно, заметил, что в этом уравнении есть один путанный момент: расписка может играть роль денег только потому, что Генри не выплачивает свой долг. Именно на этой основе был создан Банк Англии – первый успешный современный центральный банк. В 1694 году консорциум английских банкиров предоставил королю заем в 1200 тыс. фунтов стерлингов. Взамен они получили королевскую монополию на выпуск банкнот. На практике это означало, что в обмен на ту долю денег, которую им должен был король, они имели право выдавать расписки любому жителю королевства, желавшему взять у них кредит или положить свои деньги в банк, т. е. пустить в обращение или «монетизировать» вновь созданный королевский долг. Для банкиров это была отличная сделка (они брали с короля восемь процентов годовых с изначального долга и взимали процент еще и с клиентов, которые занимали эти деньги), но все это могло работать только до тех пор, пока долг оставался невыплаченным. До сегодняшнего дня этот заем так и не был возвращен. И не может быть возвращен. Если бы он был выплачен, вся денежная система Великобритании перестала бы существовать^[68].

Такой подход позволяет раскрыть одну из главных загадок налоговой политики многих ранних государств: почему они вообще заставляли подданных платить налоги? Мы не привыкли задаваться таким вопросом. Ответ кажется очевидным. Правительства требуют уплаты налогов, потому что хотят наложить руку на деньги людей. Но если Смит был прав и золото и серебро стали деньгами благодаря естественному функционированию рынка, который никак не зависел от правительств, то не было бы для них естественным захватить контроль над золотыми и серебряными рудниками? Тогда короли смогли бы чеканить столько денег, сколько им было бы нужно. Собственно, это короли обычно и делали. Если на их территории находились золотые и серебряные рудники, они прибирали их к рукам. Так зачем вообще нужно добывать золото, штамповать на нем собственное изображение, пускать его в обращение между своими подданными, а потом требовать от них, чтобы они его возвращали?

Это похоже на головоломку. Но если деньги и рынки появляются не стихийно, то все встает на свои места. Потому что это самый простой и эффективный способ создать рынки. Возьмем гипотетический пример. Допустим, король хочет обеспечить снабжение постоянной армии численностью в 50 тыс. человек. В условиях Древности или Средневековья прокормить такое войско было целой проблемой: если оно не было в походе, то нужно было задействовать почти столько же людей для размещения солдат и для закупки и транспортировки необходимых им товаров^[69]. С другой стороны, если вы просто даете солдатам монеты, а потом каждую семью в королевстве обязываете вернуть вам одну из этих монет, то вся экономика страны, как по мановению волшебства, превращается в огромную машину, работающую на снабжение армии, поскольку теперь для того, чтобы получить монеты, каждая семья должна каким-то образом содействовать общим усилиям по обеспечению солдат необходимыми им вещами. Рынки возникают как побочный эффект.

Это сильно упрощенная версия, но совершенно очевидно, что рынки стали возникать вокруг древних армий; достаточно взглянуть на трактат Каутильи «Артхашастра», сасанидский «круг суверенитета» или китайский «Спор о соли и железе», чтобы убедиться в том, что древние правители в основном занимались тем, что размышляли над взаимосвязью между

рудниками, солдатами, налогами и продовольствием. Большинство из них пришло к выводу, что создание такого рода рынков было целесообразным не только для того, чтобы кормить солдат, но и во всех прочих отношениях, поскольку теперь офицерам не было надобности реквизировать напрямую у населения все, что им было нужно, или производить это на царских землях или в царских мастерских. Иными словами, в отличие от прочно укоренившегося либерального представления, которое идет от Смита и заключается в том, что государства и рынки до некоторой степени противостоят друг другу, исторические факты свидетельствуют, что все было с точностью до наоборот. Общества, не имевшие государства, как правило, не знали и рынков.

Как нетрудно представить, государственные теории денег всегда проклинались экономистами, которые следовали традиции, идущей от Адама Смита. Хартализм нередко считался популистской версией экономической теории, которая пользовалась популярностью у разных чудаков^[70]. Забавно, что традиционные экономисты часто устраивались работать при правительствах и советовали им, как осуществлять политику вроде той, что описывали сторонники хартализма, а именно налоговую политику, которая преследует цель создавать рынки там, где их раньше не было. И это несмотря на то, что в теории они придерживались положения Смита о возникновении рынков стихийно, по собственному почину.

Особенно ярко это проявлялось в колониальном мире. Вернемся на мгновение на Мадагаскар: я уже упоминал, что одной из первых вещей, которую сделал французский генерал Галльени, покоритель Мадагаскара, после завершения завоевания острова в 1901 году, стало введение подушного налога. Этот налог не только был высоким, но еще и должен был выплачиваться в новых малагасийских франках. Иными словами, Галльени напечатал деньги, а потом стал требовать, чтобы каждый житель страны вернул ему часть этих денег.

Но самым поразительным было то, как описывался этот налог. Он назывался "*impôt moralisateur*", «воспитательный», или «приучающий к нравственности», налог. То есть он был призван, выражаясь языком той эпохи, втолковать аборигенам ценность работы. Поскольку «воспитательный налог» нужно было уплачивать вскоре после сбора урожая, крестьянам было проще всего получить деньги, продав часть собранного риса китайским или индийским торговцам, которые быстро обосновались в мелких городках страны. По очевидным причинам после сбора урожая рыночные цены на рис были минимальны; если кто-то продавал слишком много риса, это означало, что ему могло не хватить на пропитание семьи в течение всего года и тогда он должен был покупать собственный же рис в кредит у тех же самых торговцев, но уже по гораздо более высокой цене. В результате крестьяне влезали в огромные долги (торговцы брали ростовщические проценты). Было легче всего выплатить долг, начав выращивать какую-нибудь товарную культуру на продажу – кофе или ананасы – или отправляя одного из детей на заработки в город или на одну из плантаций, которые устраивали на острове французские колонисты. Весь этот проект может показаться не более чем циничной схемой эксплуатации дешевого крестьянского труда. Таким он и был, но у него была еще и другая цель. Колониальное правительство откровенно говорило (по крайней мере в документах, предназначенных для внутреннего пользования) о том, что у крестьян должно оставаться на руках хоть немного денег и что они должны привыкнуть к безделушкам вроде зонтиков, губной помады и печенья, которые продавались в китайских магазинах. Важно было привить им новые вкусы, привычки и создающие потребительский спрос ожидания, которые сохранятся после ухода завоевателей и навсегда привяжут Мадагаскар к Франции.

Но люди в массе своей не идиоты, и большинство мальгашей прекрасно поняли, что пытались сделать с ними завоеватели. Некоторые решили сопротивляться. Через шестьдесят с лишним лет после покорения острова французский антрополог Жерар Альтаб наблюдал, как жители деревень на восточном побережье послушно приходили на кофейные планта-

ции, чтобы заработать деньги на уплату подушного налога, а уплатив его, намеренно игнорировали товары, продававшиеся в местных лавках, и отдавали все оставшиеся деньги старейшинам рода, которые покупали на них скот для принесения жертв предкам^[71]. Многие вполне открыто говорили, что, по их мнению, так они избегали ловушки.

Однако такое сопротивление редко когда длится вечно. Постепенно рынки появились даже в тех частях острова, где никогда прежде не существовали, а с ними неизбежно возникла и сеть мелких лавок. Когда я оказался там в 1990 году, поколение спустя после отмены подушного налога революционным правительством, логика рынка настолько проникла в сознание людей, что даже духовные медиумы произносили речи, которые казались заимствованными у Адама Смита.

Такие примеры можно приводить до бесконечности. Нечто подобное произошло во всех завоеванных европейцами частях света, где еще не было рынков. Так и не обнаружив меновой торговли, они в конце концов стали использовать приемы, отвергавшиеся классическими экономистами, для того чтобы создать нечто похожее на рынки.

В поисках мифа

Антропологи жаловались на миф о меновой торговле почти целое столетие. Иногда экономисты отмечали с легким раздражением, что они продолжают рассказывать несмотря ни на что все ту же историю по одной простой причине: антропологи так и не предложили ничего лучшего^[72]. Возражение вполне понятное, но на него есть и простой ответ. Антропологи так и не смогли предложить ясную и убедительную историю происхождения денег потому, что, судя по всему, такой истории вообще не было. Деньги никто не изобретал, точно так же как не были «изобретены» музыка, математика или ювелирное искусство. То, что мы называем «деньгами», вовсе не «вещь», а лишь способ математического сравнения вещей, подобный пропорции: например, один икс равен шести игрекам. Такое использование денег, возможно, возникло уже тогда, когда человек научился думать. Когда мы пытаемся выяснить детали, то обнаруживается, что существует множество различных обычаев и практик, которые слились в то, что мы теперь называем «деньгами», и именно по этой причине экономистам, историкам и всем остальным так трудно предложить их единое определение.

Долгое время приверженцам кредитной теории мешало отсутствие у них столь же убедительной версии, как традиционная. Но это не значит, что все участники споров о деньгах, которые велись между 1850 и 1950 годами, не могли прибегнуть к собственному мифологическому оружию. Это хорошо видно на примере Соединенных Штатов. В 1894 году гринбекеры, настаивавшие на том, что доллар необходимо отвязать от золота, чтобы позволить правительству свободно тратить деньги на создание рабочих мест, решили устроить марш на Вашингтон – эта идея впоследствии стала в США очень популярной. Книга Л. Фрэнка Баума «Удивительный волшебник из страны Оз», изданная в 1900 году, считается иносказательным рассказом о популистской кампании Уильяма Дженнингса Брайана, который дважды баллотировался на пост президента, выступая с программой «свободного серебра». Суть ее заключалась в замене золотого стандарта на биметаллическую систему, которая дала бы возможность свободно выпускать серебряные деньги наряду с золотыми^[73]. Как и в случае гринбекеров, одними из главных сторонников движения стали должники, особенно семьи фермеров со Среднего Запада вроде семьи Дороти, многие из которых утратили право выкупать свое заложенное имущество во время тяжелой рецессии 1890-х годов. В популистском прочтении Злые Ведьмы Востока и Запада представляли собой банкиров Восточного и Западного побережий (инициаторов политики ограничения денежного предложения и ее выгодополучателей), Страшила воплощал фермеров (у которых не было мозгов, чтобы избежать долговой ловушки), Железный дровосек был промышленным пролетариатом (у которого не было сердца, чтобы поддержать фермеров), а Трусливый Лев отражал политический класс (у которого не хватило смелости вмешаться). Дорога из желтого кирпича, серебряные башмачки, изумрудный город и незадачливый Волшебник говорят сами за себя^[74]. «Оз» – это стандартная аббревиатура «унции»^[75]. Как попытка создать новый миф история Баума оказалась на редкость удачной, а вот как политическая пропаганда – не очень. Уильям Дженнингс Брайан в общей сложности трижды провалился на президентских выборах, серебряный стандарт так и не был принят, и сегодня мало кто помнит, с какой целью изначально задумывался «Удивительный волшебник из страны Оз»^[76].

Для сторонников теории государственных денег это было проблемой. Истории о правителях, которые используют налоги для создания рынков на завоеванных территориях, для выплаты жалования солдатам или для покрытия других государственных нужд, не сильно вдохновляют. Немецкие идеи о том, что деньги – это воплощение национального духа, тоже не обрели особой популярности.

Вместе с тем всякое крупное экономическое потрясение наносило очередной удар по общепринятой либеральной теории. Кампания Брайана стала реакцией на Панику 1893 года. Во времена Великой депрессии 1930-х годов сама мысль о том, что рынок может сам себя регулировать, а правительство должно обеспечивать прочную привязку денег к драгоценным металлам, полностью себя дискредитировала. Приблизительно с 1933 по 1979 год правительства всех крупных капиталистических стран полностью сменили курс, приняв кейнсианство в той или иной форме. Кейнсианская теория отталкивалась от предположения о том, что капиталистические рынки могут функционировать лишь тогда, когда капиталистические правительства берут на себя заботу о них, т. е. стимулируют экономику за счет наращивания дефицита во время спада. В 1980-х годах Маргарет Тэтчер в Великобритании и Рональд Рейган в США устроили целый спектакль, отвергнув этот принцип на словах, но неясно, действительно ли это произошло на деле^[77]. В любом случае, они действовали уже после того, когда по классической монетарной теории был нанесен еще более мощный удар: им стало решение, принятое Ричардом Никсоном в 1971 году и заключавшееся в том, что доллар был полностью отвязан от драгоценных металлов, международный золотой стандарт был отменен, а на смену ему пришла система плавающих валютных курсов, которая с тех пор доминирует в мировой экономике. Это означало, что все национальные валюты теперь стали, по выражению экономистов неоклассической школы, «фиатными деньгами», обеспеченными лишь общественным доверием.

Джон Мейнард Кейнс прислушивался к доводам «альтернативной традиции», как он ее называл, кредитной и государственной теорий намного больше, чем любой другой экономист его масштаба (а Кейнс остается крупнейшим экономическим мыслителем XX века) до или после него. До некоторой степени он и сам погрузился в эту традицию: в 1920-х годах он несколько лет изучал месопотамские клинописные банковские записи, пытаясь выявить происхождение денег, – это было его «вавилонское безумие», как он говорил позднее^[78]. Его выводы, изложенные в самом начале «Трактата о деньгах», его самой известной работы, более или менее соответствовали единственному заключению, к которому только можно прийти, если опираться не на базовые принципы, а на тщательное исследование исторических свидетельств. Состояли эти выводы в том, что точка зрения чудаков была верной. Какими бы ни были более ранние истоки денег, в последние четыре тысячи лет они были творением государства. Люди, отмечал он, заключают друг с другом контракты. Они берут кредиты и обещают их выплатить.

Таким образом, государство выступает прежде всего как законная власть, которая добивается оплаты того, что соответствует контракту по названию или по описанию. И выступает в этой роли вдвойне, когда к тому же присваивает себе право определять и провозглашать, что именно соответствует этому названию, и право время от времени менять это определение, т. е. менять смысл слов. Это право присваивают себе все современные государства и присваивали их предшественники на протяжении по меньшей мере четырех тысяч лет. Когда была достигнута эта стадия эволюции денег, хартальная теория Кнаппа, в соответствии с которой деньги создаются государством, в полной мере подтвердилась... Все сегодняшние цивилизованные деньги, вне всякого сомнения, являются хартальными^[79].

Это не означает, что государство обязательно *создает* деньги. Деньги – это кредит, они могут появляться благодаря частным договорным соглашениям (например, кредитам). Государство просто обеспечивает их выполнение и диктует юридические условия. А вот следующее утверждение Кейнса: банки создают деньги, и ничто их в этом не ограничивает – ведь

сколько бы они ни давали в долг, заемщику не остается ничего, кроме как опять положить деньги в какой-нибудь банк, а значит, с точки зрения банковской системы в целом дебет и кредит взаимно уравнивают друг друга^[80]. Последствия этого были радикальными, только вот Кейнс радикалом не был. Он всегда старался формулировать проблему так, чтобы ее можно было реинтегрировать в экономическую науку его эпохи.

Да и мифотворцем Кейнс не был. Альтернативная традиция смогла предложить ответ на миф о меновой торговле благодаря усилиям не самого Кейнса (он в конечном счете решил, что вопрос о происхождении денег не имел особого значения), а отдельных современных некейнсианцев, которые не побоялись максимально развить некоторые из его наиболее радикальных идей.

Самым слабым звеном в государственно-кредитных теориях денег был вопрос о налогах. Одно дело – объяснить, почему ранние государства требовали уплаты налогов (чтобы создать рынки). Совсем другое – задаться вопросом «А по какому праву?». Если признать, что древние правители не были обыкновенными бандитами, а налоги не были банальным вымогательством (насколько мне известно, ни один сторонник кредитной теории не придерживался столь циничной оценки ранних правительств), то нужно выяснить, чем они это оправдывали.

Сегодня все мы думаем, что знаем ответ на этот вопрос. Мы платим налоги, чтобы правительство могло нам предоставлять определенные услуги. Первая из них – обеспечение безопасности: военная защита зачастую была единственной услугой, которую были в состоянии оказывать ранние государства. Конечно, сегодня правительство предоставляет много чего еще. Считается, что все это восходит к некоему изначальному «общественному договору», на который каждый согласился, хотя никто точно не знает, когда и кто это сделал и почему мы должны быть связаны решениями наших далеких предков в этой области, тогда как мы не считаем себя особо связанными их решениями, касающимися всего остального^[81]. Все это имеет смысл, если вы полагаете, что рынки появились раньше правительств, но обращается в ничто, когда вы понимаете, что это не так.

Есть и альтернативное объяснение, которое согласуется с государственно-кредитным подходом. Оно носит название «теории изначального долга». Ее разрабатывала группа французских исследователей – не только экономистов, но и антропологов, историков и специалистов по классическим языкам, которые изначально объединялись вокруг Мишеля Аглиетты и Андре Орлеана^[82], а позже вокруг Бруно Тере. Затем ее взяли на вооружение некейнсианцы в США и Великобритании^[83].

Эта теория появилась относительно недавно – в ходе споров о природе евро. Создание общей европейской валюты породило острые споры не только между интеллектуалами (подразумевает ли общая валюта появление общего европейского государства? или общей европейской экономики? или общества? это в общем и целом, одно и то же или нет?), но и среди политиков. Идею о создании еврозоны отстаивала прежде всего Германия, центральный банк которой по-прежнему видит свою главную цель в борьбе с инфляцией. Более того, поскольку политика ограничения кредита и необходимость достижения сбалансированного бюджета использовалась как главное оружие в борьбе за сворачивание государства всеобщего благосостояния в Европе, она стала основным предметом споров между банкирами и пенсионерами, кредиторами и должниками, накал которых был не меньшим, чем в Америке 1890-х годов.

Главный аргумент теории изначального долга состоит в том, что любая попытка отделить монетарную политику от социальной в корне ошибочна, поскольку они являются единым целым. Правительства могут использовать налоги для создания денег потому, что они стали хранителями долга всех граждан друг перед другом. Этот долг – основа общества как

такового. Он появился задолго до денег и рынка, которые служат лишь для того, чтобы раздробить его на мелкие части.

Изначально, гласит теория, это чувство долга выражалось не государством, а посредством религии. Чтобы обосновать эту идею, Аглиетта и Орлеан обратились к некоторым ранним религиозным санскритским произведениям – гимнам, молитвам, стихотворениям, собранным в Ведах, и к Брахманам, комментариям Вед, которые были составлены жрецами в последующие столетия и ныне считаются первоисточником индуистской мысли. Выбор не такой странный, каким он может показаться на первый взгляд. Эти тексты представляют собой самые древние известные нам размышления о природе долга.

Даже в самых ранних ведийских поэмах, сочиненных приблизительно между 1500 и 1200 годами до н. э., речь постоянно заходит о долге, который выступает синонимом вины и греха^[84]. Есть множество молитв, которые обращены к богам с просьбой освободить молящегося от оков или уз долга. Иногда это относится к долгу в прямом смысле. Например, в Ригведе (10.34) дается длинное описание бедственного положения, в котором оказывается игрок: «Обремененный долгами, испуганно ищущий денег, // Идет он ночью в дом других (людей)»³. В других местах это чистая метафора.

В этих гимнах важную роль играет Яма, бог смерти. Быть в долгу значило нести бремя, возложенное Смертью. Иметь какое-либо невыполненное обязательство или неисполненное обещание по отношению к богам или к людям означало жить в тени Смерти. Даже в самых ранних текстах в понятие «долг» вкладывался более широкий смысл внутреннего страдания, об избавлении от которого человек молил богов, в первую очередь Агни, воплощавшего жертвенный огонь. Лишь в Брахманах комментаторы попытались связать все это в полноценную философскую концепцию. Вывод из нее вытекал такой: человеческое существование само по себе является формой долга.

Человек рождается в долгу; сам по себе он рожден для Смерти, и, лишь принося жертвы, он выкупает себя у Смерти^[85].

Поэтому жертвоприношение (а эти ранние комментаторы сами были жрецами) называется «данью Смерти». Ну или так оно обозначалось. На самом деле жрецы лучше, чем кто-либо другой, знали, что жертва приносится всем богам, а не только Смерти, которая была лишь посредником. Однако такая постановка вопроса неизбежно порождала проблему, которая возникает всякий раз, когда человеческая жизнь определяется таким образом. Если наши жизни – это заем, кто захочет выплачивать такой долг? Жить в долгу означает быть виновным, неполноценным. Но полноценность может означать уничтожение. Значит, жертвенная «дань» может рассматриваться как своего рода уплата процентов, при этом жизнь животного заменяет то, что является предметом долга, т. е. нас самих, – это лишь способ отсрочить неизбежное^[86].

Комментаторы-жрецы предложили несколько путей выхода из этой дилеммы. Некоторые дальновидные брахманы стали говорить своим клиентам, что при правильном исполнении ритуал жертвоприношения позволяет полностью освободиться от человеческого существования и обрести вечность (а перед лицом вечности все долги теряют значение)^[87]. Другой способ – расширить понятие долга, так чтобы все виды социальной ответственности стали долгами разного рода. В двух знаменитых отрывках из Брахман утверждается, что, рождаясь, мы оказываемся в долгу не только перед богами, с которыми мы расплачиваемся, принося жертву, но и перед мудрецами, которые создали ведийское учение и которым мы должны отплатить учением; перед нашими предками («Отцами»), с которыми мы должны

³ Перевод приводится по изданию: Ригведа. Т. 3. Мандалы IX–X / пер. Т.Я. Елизаренковой. (Серия «Литературные памятники».) М.: Наука, 1999.

расплатиться, родив детей; и, наконец, перед «людьми», что, видимо, означает перед всем человечеством, с которым мы расплачиваемся, предоставляя кров чужестранцам^[88]. Всякий, кто ведет праведный образ жизни, постоянно выплачивает экзистенциальные долги разного рода; в то же время понятие долга вновь обретает смысл простого обязательства перед обществом, а значит, перестает быть таким страшным, как в значении, предполагающем, что само существование человека – это заем, взятый у Смерти^[89]. Не в последнюю очередь потому, что обязательства перед обществом носят двусторонний характер. Например, когда у человека появляются дети, он становится и должником, и кредитором.

По сути, авторы теории изначального долга предположили, что идеи, изложенные в этих ведийских текстах, не принадлежат к определенной интеллектуальной традиции, которой придерживаются специалисты, изучающие ранний железный век в долине Ганга, а являются основой самой природы и истории человеческой мысли. Вот, например, отрывок из эссе с многообещающим названием «Социокультурные измерения денег: предпосылки перехода к евро», которое французский экономист Бруно Тере опубликовал в «Журнале потребительской политики» в 1999 году:

В основе денег лежит «отношение представления» смерти как невидимого мира, лежащего до и за пределами жизни. Это представление является порождением присущей человеческому роду символической функции, которая рассматривает рождение как первородный долг, возложенный на всех людей, долг перед вселенскими силами, создавшими человечество.

Уплата этого долга, полное возвращение которого на Земле находится за пределами человеческих возможностей, приобретает форму жертвоприношений. Восполняя кредит существования, они позволяют продлить жизнь, а в некоторых случаях – даже достичь бессмертия и примкнуть к сонму богов. Но эта начальная предпосылка веры также связана с появлением верховной власти, чья легитимность основана на способности представлять собой весь изначальный космос. Именно эта власть изобрела деньги, служившие средством возвращения долгов. Абстрактность этого средства позволяет разрешить парадокс жертвоприношения, поскольку превращает убийство в постоянный инструмент защиты жизни. Благодаря этому институту вера находит воплощение в монетах с изображением суверена – так деньги пускаются в обращение, а их возврат обеспечивается другим институтом, коим является налог/уплата долга за жизнь. Так деньги приобретают также функцию средства платежа^[90].

Этот отрывок, по крайней мере, ясно показывает, насколько отличается характер дебатов в Европе от тех, что ведутся в англо-американском мире. Невозможно даже представить себе, чтобы американский экономист любого направления написал что-то в таком духе. Между тем автор предлагает здесь весьма тонкий синтез. Человеческая природа не подталкивает нас «к ведению обмена». Она скорее выражается в том, что мы создаем символы, такие как деньги. Мы считаем, что в космосе нас окружают невидимые силы и что мы находимся в долгу перед Вселенной.

Оригинальность этого рассуждения, безусловно, выражается в том, что оно вплетается в государственную теорию денег: «верховная власть» Тере означает именно «государство». Первые цари были священными и сами считались богами или выступали в роли привилегированных посредников между людьми и высшими силами, управляющими космосом. Это подталкивает нас к постепенному осознанию того, что наш долг перед богами на самом деле всегда был долгом перед обществом, которое сделало нас такими, какие мы есть.

«Изначальный долг, – пишет британский социолог Джеффри Ингем, – это обязанность живущих поддерживать преемственность и прочность общества, которое обеспечивает их индивидуальное существование»^[91]. В этом смысле «долг перед обществом» есть не только у преступников – все мы до определенной степени виновны и даже являемся преступниками.

Например, Ингем отмечает, что, хотя нет надежных доказательств того, что деньги появились именно так, «это косвенно подтверждается этимологическими данными»:

Во всех индоевропейских языках слово «долг» является синонимом слов «грех» и «вина», что демонстрирует связь между религией, платежом и посреднической функцией денег [как] между сферами священного и мирского. Так, есть связь между деньгами (германское Geld), возмещением или жертвоприношением (староанглийское Geild) и, разумеется, виной (английское guilt)^[92].

Или вот еще одна интересная связка: почему скот так часто использовался в качестве денег? Немецкий историк Бернхард Лаум давно отметил, что у Гомера стоимость кораблей или доспехов всегда оценивается в волах, – хотя если происходит обмен вещами, никто за них волами не платит. Отсюда напрашивается вывод: так происходило потому, что волов часто приносили в жертву богам. То есть они представляли собой абсолютную ценность. И в Шумере, и в Античной Греции храмам жертвовали золото и серебро. По-видимому, повсюду деньги появлялись из тех вещей, которые считались самым уместным подношением богам^[93].

Если царь просто взял на себя управление нашим изначальным долгом перед обществом, которое нас создало, то это очень точно объясняет, почему правительство считает себя вправе взимать с нас налоги. Налоги – это просто мера нашего долга перед обществом, выпестовавшим нас. Но это не объясняет, каким образом абсолютный долг за жизнь может быть переведен в деньги, которые по определению являются средством оценки и сравнения стоимости различных предметов. Эта проблема встает и перед сторонниками кредитной теории, и перед экономистами неоклассической школы, хотя формулируют они ее каждый по-своему. Если отталкиваться от меновой теории денег, нужно решить, как и почему вы выбираете определенный товар для измерения того, сколько вы хотите получить от остальных. Если исходить из кредитной теории, возникает проблема, которую я описал в первой главе: как преобразовать нравственное обязательство в конкретную сумму денег, как простое осознание того, что вы кому-то обязаны услугой, может превратиться в систему учета, в которой можно точно вычислить, сколько именно овец, рыбы или серебряных чушек требуется для погашения долга. И как перейти от абсолютного долга перед Богом ко вполне конкретным долгам перед родственниками или барменом.

Приверженцы теории изначального долга и здесь предлагают оригинальный ответ. Если налоги воплощают наш абсолютный долг перед создавшим нас обществом, то первым шагом к созданию реальных денег является исчисление намного более конкретных долгов перед обществом, систем штрафов, взысканий и пеней или даже долгов перед конкретными людьми, которым мы причинили какой-либо ущерб и с которыми мы находимся в отношениях «греха» или «вины».

Это вовсе не так невероятно, как кажется. Одна из деталей, которая больше всего сбивает с толку во всех рассмотренных нами теориях о происхождении денег, заключается в том, что они почти полностью игнорируют данные антропологии. Антропологи собрали огромное количество информации о том, как функционировали экономики в обществах, не имеющих государства, и как они продолжают функционировать там, где государства и рынки еще не сумели полностью разрушить существующий строй. Бесчисленное количество исследований посвящено, например, использованию в качестве денег скота в Восточной или Южной

Африке, раковин в обеих Америках (вампум – самый известный пример этого) или в Папуа – Новой Гвинее, бус, перьев, железных колец, раковин каури или спондилуса, латунных трубок или скальпов дятлов^[94]. Причина, по которой экономисты, как правило, игнорируют эти исследования, проста: «примитивные деньги» такого рода редко когда служат для купли и продажи вещей; даже если их и употребляют в этих целях, то никогда не используют для купли и продажи бытовых предметов вроде куриц, яиц, ботинок или картошки. Их используют не для приобретения вещей, а в основном для налаживания отношений между людьми, прежде всего для заключения браков или решения споров, особенно тех, которые возникают на почве убийства или личного оскорбления.

Есть все основания верить, что именно так и появились наши деньги. Даже английский глагол "to pay" («платить») происходит от глагола «умиротворять, успокаивать», т. е. дать другому человеку нечто ценное, чтобы выразить свое сожаление по поводу того, что вы убили его брата в пьяной драке, и дать ему понять, что вы очень хотели бы избежать кровной мести с его стороны^[95].

Последнему варианту теории долга уделяют особое внимание, отчасти потому, что, пренебрегая антропологической литературой, они обращаются к древним судебникам. Дорогу в этом направлении им проложили фундаментальные труды Филипа Грирсона, одного из крупнейших нумизматов двадцатого столетия, который в 1970-х годах предположил, что деньги могли возникнуть на основе раннего процессуального права. Специалист по европейским «темным векам», Грирсон особенно увлекался «Варварскими правдами», которые в VII–VIII веках, после гибели Римской империи, составляли германские народы – готы, фризы, франки и другие; позднее подобные правды появились повсюду от Руси до Ирландии. Конечно, это уникальные документы. С одной стороны, они со всей очевидностью показывают, насколько ошибочны традиционные версии истории, в соответствии с которыми Европа в ту эпоху «вернулась к меновой торговле». Почти во всех германских правдах пени указывались в римской монете; штрафы за воровство, например, почти всегда сопровождаются требованием, чтобы вор не только вернул украденную собственность, но и выплатил упущенную ренту (или, в случае кражи денег, проценты) за тот срок, на протяжении которого он ею владел. С другой стороны, судебники, которые позднее появились у народов, никогда не живших под римской властью: в Ирландии, Уэльсе, странах Северной Европы, на Руси, еще более показательны. Они были на редкость изобретательны как в определении средств платежа, так и в точном указании видов телесных повреждений и оскорблений, которые требовали компенсации:

В валлийских законах для выражения размеров компенсации использовался прежде всего скот, а в ирландских – скот или крепостные (кумалы); и в том и в другом случае также широко использовались драгоценные металлы. В германских правдах штрафы указывались в основном в драгоценных металлах... В русских правдах эту роль выполняли серебро и меха, от куньих до беличьих в зависимости от характера штрафа. Такая точность тем более примечательна, что касается не только телесных повреждений – отдельные компенсации предусмотрены за потерю всей руки, кисти, указательного пальца, ногтя, за такую тяжелую рану на голове, что видна кость или мозг, – но и собственности личных домохозяйств. Раздел II Салической правды посвящен краже свиней, раздел III – краже рогатых животных, раздел IV – овец, раздел V – коз, раздел VI – собак, и всякий раз тщательно указывается разница между животными различного возраста и пола.^[96]

Это имеет большое психологическое значение. Как я уже отмечал, сложно представить себе, как система точных эквивалентов (одна молодая и здоровая молочная корова точно равна 36 цыплятам) могла возникнуть из большинства форм обмена подарками. Если Генри дает Джошуа свинью и считает, что взамен получил не соответствующий ей подарок, он может выставить Джошуа скрягой, но вряд ли сможет вывести математическую формулу для определения того, насколько Джошуа жадный. С другой стороны, если свинья Джошуа разорила сад Генри и особенно если это привело к драке, в которой Генри потерял палец ноги, и теперь семья Генри обвиняет Джошуа на деревенском сходе, то это как раз те условия, в которых люди обычно цепляются к каждой мелочи и негодуют в том случае, когда считают, что получили на грош меньше, чем им полагалось по справедливости. Это означает точное математическое выражение, например возможность измерить точную стоимость двухлетней беременной свиноматки. Более того, взыскание штрафов должно постоянно требовать установления эквивалентов. Допустим, штраф выражен в куньих шкурках, но у клана обидчика нет куниц. Сколько беличьих шкурок они должны отдать? Или серебряных украшений? Такие проблемы должны были возникать постоянно и приводили к выработке общих правил, пусть и приблизительных, относительно того, какие предметы соответствовали друг другу по стоимости. Это помогает объяснить, почему, например, в средневековых валлийских судебных книгах подробно указывалась не только стоимость молочных коров разного возраста и физического состояния, но и денежная стоимость любого предмета, который можно было найти на обычном крестьянском дворе, вплоть до последнего полена, – несмотря на то что нет оснований верить, что в те времена большая часть этих вещей продавалась на открытом рынке^[97].

* * *

Все это звучит очень убедительно. Это предположение исходит из интуиции. В конце концов, всем, что у нас есть, мы обязаны другим. Это чистая правда. Язык, на котором мы говорим и даже думаем, наши привычки и суждения, еда, которая нам нравится, технология, которая зажигает лапочки и спускает воду в туалете, даже наши формы протеста и бунта против общественных условностей – все это мы получили от других людей, большинство из которых уже умерло. Если бы все, чем мы им обязаны, мы представляли в виде долга, то он был бы бесконечен. Вопрос вот в чем: имеет ли смысл считать все это долгом? В конце концов, долг по определению является чем-то таким, что мы чисто теоретически можем выплатить. Довольно странно хотеть рассчитаться со своими родственниками – это скорее будет означать, что ты просто больше не желаешь считать их таковыми. Хотели ли бы мы на самом деле рассчитаться со всем человечеством? Что это вообще значило бы? И действительно ли подобное желание является ключевой особенностью человеческого мышления?

Это можно выразить иначе: *описывают* ли приверженцы теории первоначального долга миф или они открыли истину человеческой природы, которая справедлива для всех обществ? Действительно ли эта истина столь очевидно вытекает из некоторых древних индийских текстов? Или же они *придумывают* собственный миф?

Разумеется, второе. Они придумывают миф.

Выбор ими ведийского материала весьма показателен. Дело в том, что мы почти ничего не знаем о людях, составивших эти тексты, и очень мало – об обществе, которое их создало^[98]. Мы даже не знаем, существовали ли процентные ссуды в Индии ведийской эпохи – что, безусловно, влияло на то, действительно ли жрецы видели в жертвоприношении уплату процентов по займу, который берется у смерти^[99]. А значит, этот материал может служить пустым полотном или полотном, покрытым неизвестными иероглифами, – мы можем наносить на него все что угодно. Если мы посмотрим на другие древние цивилизации, о

которых мы знаем несколько больше, то обнаружим, что они не рассматривали жертвоприношение как уплату долга^[100]. Если мы обратимся к трудам древних богословов, выяснится, что большинство из них были знакомы с мыслью о том, что жертвоприношение – это способ вступить в коммерческие отношения с богами, но она им казалась смешной: если у богов и так есть все, что они хотят, что могут предложить им люди?^[101] В предыдущей главе мы видели, как трудно было делать подарки королям. С богами (не говоря уже о Боге) проблема усложнялась еще больше. Обмен предполагает равенство, которое в отношениях с вселенскими силами в принципе считалось невозможным.

Представление о том, что долги перед богами были присвоены государством и положили начало системам налогообложения, тоже не выдерживает критики. Проблема в том, что в Древнем мире свободные граждане налогов обычно не платили. Как правило, дань взималась только с покоренных народов. Так было уже в древней Месопотамии, где жители независимых городов вообще не должны были платить налоги. Античные греки, как пишет Мозес Финли, «считали прямые налоги проявлением тирании и уклонялись от них, когда только могли»^[102]. Афинские граждане не платили никаких прямых налогов, зато город иногда раздавал им деньги – это было своего рода обратное налогообложение. Иногда это делалось напрямую, как в случае доходов от Лаврийских серебряных рудников, а иногда – косвенно, посредством щедрых выплат за участие в суде в качестве присяжного или за посещение народного собрания. Покоренные же города обязаны были выплачивать дань. Даже в Персидской империи персы не должны были платить дань Великому царю, в отличие от жителей завоеванных провинций^[103]. То же происходило и в Риме, где в течение очень долгого времени римские граждане не только не платили налогов, но и имели право на получение своей доли дани, взысканной с других, в виде раздач хлеба – одной из двух частей знаменитого требования «хлеба и зрелищ»^[104].

Иными словами, Бенджамин Франклин ошибался, когда говорил, что в этом мире нет ничего неизбежного, кроме смерти и налогов. Это делает гораздо более труднодоказуемой идею о том, что долг перед первой – это лишь вариация второго.

Однако все это не наносит сокрушительного удара по государственной теории денег. Даже те государства, которые не требовали налогов, взимали разного рода штрафы, взыскания, сборы и пени. Но это очень *трудно* примирить с теорией, которая утверждает, что государства возникли как хранители некоего вселенского, изначального долга.

Любопытно, что приверженцам теории первоначального долга нечего сказать о Шумере или Вавилоне, хотя именно в Месопотамии впервые сложилась практика давать деньги в рост: возможно, за две тысячи лет до того, как были составлены Веды, и именно там появились первые в истории государства. Но если мы обратимся к месопотамской истории, то их молчание оказывается не столь уж удивительным. То, что мы там обнаруживаем, прямо противоположно утверждениям подобных теоретиков.

Читатель помнит, что в месопотамских городах-государствах доминировали храмы – гигантские, сложные производственные комплексы, в которых зачастую трудились тысячи людей – от пастухов, бурлаков, прядильщиков и ткачей до танцовщиц и храмовых управителей. Около 2700 года до н. э. наиболее дальновидные правители начали подражать им, создавая дворцовые комплексы, которые были организованы по тем же принципам, за тем лишь исключением, что если ключевым элементом храмов были священные покои бога или богини, представленных священным изображением, которое слуги кормили, одевали и развлекали так, как если бы оно было живым человеком, то во дворцах в этом качестве выступали покои живого царя. Шумерские правители редко провозглашали себя богами, но часто приближались к этому статусу. Тем не менее когда они вмешивались в жизнь своих подданных в обликах правителей вселенной, они не вводили государственные долги, а, скорее, упрощали долги частные^[105].

Мы точно не знаем, когда и как возникли процентные ссуды, так как произошло это до появления письменности. Скорее всего, храмовые управители придумали их для того, чтобы финансировать караванную торговлю. Она имела ключевое значение, поскольку, хотя речные долины древней Месопотамии были чрезвычайно плодородными и давали крупные излишки зерна и другого продовольствия, а также обеспечивали пропитанием огромное количество скота, на разведении которого, в свою очередь, зиждилось крупное производство шерсти и кожи, ничего другого там не было. Камни, дерево, металлы и даже серебро, использовавшееся в качестве денег, – все это нужно было импортировать. Поэтому уже в ранние времена храмовые управители привыкли одалживать товары, шедшие на экспорт, местным купцам, некоторые из которых были частными лицами, другие – храмовыми чиновниками. Для храмов процент был возможностью участвовать в доходах от заморской торговли^[106]. Едва появившись, эта практика получила широкое распространение. Очень скоро мы обнаруживаем займы не только торговые, но и потребительские, т. е. ростовщичество в классическом смысле слова. Около 2400 года до н. э. для местных чиновников и состоятельных купцов обычной практикой стало предоставление ссуд под залог крестьянам, столкнувшимся с финансовыми затруднениями, и присвоение их собственности, в случае если они не могли вернуть долг. Как правило, все начиналось с зерна, овец, коз и мебели, потом в дело шли поля и дома или же члены семьи. Если у крестьянина были слуги, они отправлялись к займодавцу, за ними следовали дети, жены, а в исключительных случаях – и сам должник. Они превращались в долговых рабов, которые почти не отличались от обычных и были обязаны вечно трудиться в хозяйстве кредитора или же в храмах и дворцах. Конечно, чисто теоретически каждый из них мог выкупить себя, вернув долг, но по понятным причинам чем меньше ресурсов оставалось в руках крестьянина, тем труднее это было сделать.

Зачастую это приводило к таким последствиям, которые грозили уничтожить общество. Если по какой-либо причине случался неурожай, множество крестьян попадали в долговое рабство, разрушались семьи. Очень скоро земли стали пустовать, поскольку отягощенные долгами крестьяне покидали свои дома, боясь попасть в руки кредиторов, и присоединялись к полукочевым бандам, обретавшимся на пустынных окраинах городской цивилизации. Сталкиваясь с угрозой полного развала общества, шумерские, а затем и вавилонские цари периодически объявляли всеобщие амнистии, которые, по выражению историка экономики Майкла Хадсона, позволяли начать все «с чистого листа». Такие декреты обычно объявляли недействительными все невыплаченные потребительские долги (торговых долгов это не касалось), возвращали все земли их первоначальным владельцам и позволяли долговым рабам вернуться к своим семьям. Очень скоро у царей вошло в обычай провозглашать амнистию при вступлении на трон, а многим приходилось неоднократно повторять ее на протяжении своего правления.

В Шумере эти амнистии называли «провозглашением свободы»; примечательно, что шумерское слово "amargi" – первое записанное слово из всех известных языков, обозначающее свободу, – дословно переводится как «возвращение к матери», поскольку именно это дозволялось сделать освобожденным долговым рабам^[107].

Майкл Хадсон утверждает, что месопотамские цари могли это делать только благодаря своим вселенским притязаниям: получая власть, они считали, что буквально воссоздают человеческое общество и способны упразднить все предшествующие нравственные обязательства, дабы начать все с чистого листа. Но все это очень далеко от того, что представляют себе приверженцы теории изначального долга^[108].

* * *

Наверное, главная проблема всей этой литературы заключается в первоначальном допущении, что все начинается с бесконечного долга человека перед чем-то под названием «общество». Этот долг перед обществом мы проецируем на богов. Этот же долг затем превращается в долг перед царями и национальными правительствами. Концепция долга вводит в заблуждение, так как мы представляем себе, что мир состоит из ряда компактных, однообразных единиц под названием «общества» и что все люди знают, к какому из них они принадлежат. В истории такое случалось редко. Представим, что я армянский купец, христианин по вероисповеданию, живущий в империи Чингисхана. Что будет для меня «обществом»? Город, где я вырос, международное сообщество купцов (с собственными нормами поведения), в рамках которого я веду повседневные дела, другие люди, говорящие по-армянски, христиане (или только православные) или же все жители Монгольской империи, раскинувшейся от Средиземного моря до Кореи? Царства и империи редко когда были для людей самыми важными ориентирами. Царства появляются и исчезают; они могут укрепляться и ослабевать; правительства лишь спорадически вмешиваются в жизнь людей, и в истории часто случалось так, что многие люди вообще не очень точно знали, под властью какого правительства они находились. Еще совсем недавно многие жители планеты не знали точно, гражданами какой страны они являются, и не понимали, какое это вообще имеет значение. Моя мама, еврейка, родившаяся в Польше, однажды рассказала мне такой забавный случай из своего детства:

На границе между Россией и Польшей был маленький городок, и никто точно не знал, какой стране он принадлежит. Однажды был подписан официальный договор, и вскоре после этого в город приехали топографы, чтобы провести границу. Пока они устанавливали свои приборы на соседнем холме, к ним подошли несколько местных жителей.

– Так мы живем в Польше или в России?

– По нашим расчетам, ваше селение находится на польской территории, в тридцати семи метрах от границы.

Местные жители тут же начали плясать от радости.

– Почему? – спросили их топографы. – Какая вам разница?

– Разве вы не понимаете, что это значит? – ответили они. – Это значит, что нам больше не придется терпеть эти ужасные русские зимы!

Однако, если, рождаясь, мы оказываемся в безмерном долгу перед людьми, которые позволили нам появиться на свет, но при этом такой единицы, как «общество», не существует, то кому или чему мы на самом деле этом обязаны? Всему и всем? Одним людям и вещам больше, чем другим? И как мы выплачиваем долг чему-то столь расплывчатому? Или, точнее, кто и на каких основаниях может претендовать на то, чтобы говорить нам, как мы можем его выплатить?

Если мы сформулируем проблему таким образом, то авторы Брахман предлагают довольно сложный ответ на нравственный вопрос, на который с тех пор никто так и смог ответить лучше. Как я уже говорил, мы мало что можем узнать об условиях, в которых писались эти тексты, но имеющиеся у нас данные говорят о том, что ключевые документы датируются периодом между 500 и 400 годами до н. э., т. е. приблизительно временем, когда жил Сократ. По-видимому, в ту эпоху торговая экономика и такие вещи, как чеканка монет и процентные ссуды, стали входить в повседневную жизнь, и индийские интеллектуалы того времени, так же как и их коллеги в Греции и Китае, начали размышлять о возможных послед-

ствиях этого. Для них вопрос формулировался следующим образом: что значит представлять наши обязанности в виде долгов? Кому мы обязаны нашим существованием?

Примечательно, что в их ответе не упоминалось ни «общество», ни государства (хотя в Древней Индии, безусловно, были цари и правительства). Они сосредоточивались на долгах перед богами, мудрецами, отцами и «людьми». Их формулировку совсем нетрудно перевести на более современный язык. Получится следующее. Мы обязаны своим существованием прежде всего:

- Вселенной, космическим силам, или, выражаясь современным термином, Природе. Это основа нашего существования. Выплачивается посредством ритуала, который является актом уважения и признания всего того, в сравнении с чем мы малы^[109].

- Тем, кто создал знания и добился культурных достижений, которые мы больше всего ценим и которые определяют форму и смысл нашего существования. Сюда входят не только философы и ученые, создавшие нашу интеллектуальную традицию, но и все от Уильяма Шекспира до той давно забытой женщины, которая где-то на Ближнем Востоке впервые замесила тесто и испекла хлеб. Мы расплачиваемся с ними, участвуя и внося свой вклад в человеческие знания и культуру.

- Нашим родителям и их родителям – нашим предкам. Мы расплачиваемся с ними, сами становясь предками.

- Человечеству в целом. Мы расплачиваемся с ним, проявляя щедрость по отношению к посторонним, поддерживая базовый уровень социального общения, который делает возможным человеческие отношения, а значит, и жизнь.

Но в таком виде аргумент обращается против своих исходных посылок. Тут нет ничего похожего на коммерческие долги. В конце концов, человек может расплачиваться с родителями, воспитывая своих детей, но никто не думает, что с кредитором можно расплатиться, одолжив денег кому-нибудь другому^[110].

Мне самому интересно: может быть, суть именно в этом? Возможно, авторы Брахман на самом деле пытались доказать, что в конечном счете наши отношения с космосом не имеют и не могут иметь ничего общего с коммерческой сделкой, потому что коммерческая сделка предполагает равенство сторон и их обособление. Все эти примеры касаются грядущего обособления: вы освобождаетесь от долга перед предками, сами становясь предками; вы освобождаетесь от долга перед мудрецами, сами становясь мудрецами; вы освобождаетесь от долга перед человечеством, проявляя человечность. Тем более это относится к рассуждениям о Вселенной. Раз вы не можете торговаться с богами, потому что у них и так уже все есть, то и со Вселенной торговаться не получится, потому что Вселенная есть все, вместе взятое, и это все, вместе взятое, включает и вас. Этот список можно рассматривать и как выражение мысли о том, что единственная возможность «освободить себя» от долга заключается не в буквальной уплате долгов, а в том, чтобы показать, что эти долги не существуют, поскольку мы не можем отделить себя от них, чтобы по ним расплатиться, а значит, само понятие упразднения долга и обретения независимого существования изначально бессмысленно. И даже само допущение такого отделения себя от человечества или космоса, которое позволит вступить с ними в деловые отношения, является преступлением, наказанием за которое станет смерть. Наша вина состоит в том, что мы осмеливаемся представлять себя равными Всему Прочему, что Существует или Когда-Либо Существовало, и ставим подобный долг во главу угла^[111].

Давайте взглянем и на вторую часть этого уравнения. Даже если можно представить, что мы находимся в абсолютном долгу перед космосом или человечеством, возникает другой вопрос: кто имеет право выступать от имени космоса или человечества и говорить нам, как

следует выплачивать этот долг? Если можно вообразить что-то более нелепое, чем считать себя обособленным от всей Вселенной и потому имеющим возможность вступать с ней в переговоры, так это претензии на то, чтобы высказываться от ее имени.

Если исходить из идеалов такого индивидуалистского общества, как наше, то можно было бы сказать так: все мы в бесконечном долгу перед человечеством, обществом, природой или космосом (кому что нравится), но никто не может сказать, как мы должны с ним расплачиваться. Это, по крайней мере, было бы обоснованно. Тогда практически все системы, основанные на признанном авторитете, – религию, нравственность, политику, экономику и уголовное правосудие – можно было бы рассматривать как разнообразные способы рассчитать то, что рассчитать нельзя, как системы, которые присваивают себе право говорить нам, как должны выплачиваться определенные части безграничного долга. Тогда человеческая свобода состояла бы в возможности решать, как мы хотим это делать.

Насколько я знаю, никто и никогда такого подхода не придерживался. На самом деле теории экзистенциального долга всегда служат средствами оправдания властных структур или выдвижения требований в их адрес. В этом отношении пример индуистской интеллектуальной традиции весьма показателен. Долг перед человечеством появляется лишь в нескольких ранних текстах – позже о нем забывают. Почти все более поздние индуистские комментаторы ничего о нем не говорят, делая акцент на долге человека перед своим отцом^[112].

* * *

У приверженцев теории изначального долга есть вопросы поважнее. На самом деле их интересует не космос, а «общество».

Давайте еще раз вернемся к слову «общество». Оно кажется таким простым, самоочевидным понятием потому, что мы, как правило, используем его как синоним слова «народ». Когда американцы говорят об уплате долга перед обществом, они не думают о своих обязательствах перед людьми, живущими в Швеции. Но понимание общества как единого, взаимосвязанного организма возможно лишь благодаря современному государству с его сложными системами охраны границ и социальной политикой. Именно поэтому перенесение этого понятия в ведийскую эпоху или в Средневековье лишь сбивает с толку, хотя другого слова у нас и нет.

Мне кажется, что именно это и делают сторонники теории изначального долга – переносят это понятие в прошлое.

На самом деле весь комплекс идей, о которых мы говорим: представление о том, что есть нечто под названием общество, что мы в долгу перед ним, что правительства могут говорить от его имени, что его можно представить в виде своего рода светского бога – все эти идеи появились приблизительно во время Французской революции или сразу после нее. Иными словами, они зародились одновременно с идеей современного национального государства.

Мы можем их увидеть в четко выраженной форме уже в работах Огюста Конта. Конт, французский философ и политический памфлетист первой половины XIX века, сегодня известный прежде всего изобретением термина «социология», в конце своей жизни зашел настолько далеко, что даже предложил религию общества под названием позитивизм, во многом повторявшую средневековый католицизм с его облачениями, у которых пуговицы располагались на спине (так что их нельзя было надеть без помощи других). В своей последней работе «Позитивистский катехизис» он изложил первую теорию общественного долга. В определенный момент некто спрашивает позитивистского священника, что тот думает о правах человека. Священник поднимает его на смех. Это бессмыслица, говорит он, ошибка, порожденная индивидуализмом. Позитивизм признает лишь обязанности. В конце концов,

все мы рождаемся с грузом обязательств самого разного рода – перед нашими предшественниками, наследниками, современниками. После нашего рождения эти обязательства возрастают или накапливаются еще до того момента, когда мы можем возмещать любому человеку любую услугу. Так на каком человеческом основании может зиждиться представление о «правах»?^[113]

Хотя Конт не использует слово «долг», смысл его рассуждений вполне понятен. Мы накапливаем бесконечное количество долгов к моменту достижения возраста, когда можем осознать, что должны их выплатить. К этому времени уже невозможно установить, кому, собственно, мы их должны. Единственный способ погасить их – посвятить себя служению человечеству в целом.

При жизни Конта считали безумцем, но его идеи имели большое влияние. Понятие безграничных обязательств перед обществом трансформировалось в понятие «общественного долга», которое взяли на вооружение социальные реформаторы и социалисты во многих странах Европы и за ее пределами^[114]. «Мы все рождаемся в долгу перед обществом»: во Франции понятие общественного долга быстро превратилось в лозунг, если не сказать в клише^[115]. В соответствии с этой точкой зрения государство просто является управляющим экзистенциального долга, который все мы несем перед обществом, создавшим нас, и который не в последнюю очередь воплощается в том, что жизнь каждого из нас полностью зависит от других людей, хотя мы и не совсем отдаем себе в этом отчет.

В определенных интеллектуальных и политических кругах получили развитие идеи Эмиля Дюркгейма, основателя социологической науки в том виде, в котором мы ее знаем сегодня. Он пошел еще дальше Конта, заявив, что все боги во всех религиях всегда являются проекцией общества, а значит, нет необходимости в обособленной религии общества. По Дюркгейму, все религии – это просто форма признания нашей взаимозависимости друг от друга, которая влияет на нас тысячами разных способов и которую мы никогда полностью не осознаем. «Бог» и «общество», в сущности, одно и то же.

Проблема в том, что уже много столетий признается, что хранителем долга, который мы несем за все это, и законным представителем аморфного социального целого, которое позволило нам стать личностями, обязательно должно быть государство. Почти все социалистические режимы опирались на ту или иную версию этого положения. Ярким примером здесь служит то, как Советский Союз оправдывал запрет для своих граждан эмигрировать в другие страны. Аргумент был неизменным: СССР вырастил и воспитал этих людей, сделал их такими, какие они есть. На каком основании они забирают плод наших вложений и перевозят его в другую страну, как если бы они ничего не были должны? Эта логика была характерна не только для социалистических режимов. Националисты взывают к тем же самым доводам – особенно во время войны. А национализм до некоторой степени присущ всем современным правительствам.

Можно даже сказать, что идея изначального долга представляет собой главный националистический миф. Раньше мы были обязаны жизнью богам, которые нас создали, и платили им проценты, принося им в жертву животных, а основную часть долга возвращали нашими жизнями. Теперь мы обязаны народу, который нас выпестовал, платим проценты в виде налогов, а когда приходит час защищать народ от врагов, готовы оплатить долг жизнью.

Это великая ловушка двадцатого столетия: с одной стороны, есть логика рынка, где мы представляем себя индивидами, которые никому ничего не должны. С другой стороны, есть логика государства, в соответствии с которой мы все изначально несем бремя долга, но оплатить его мы не в состоянии. Нам постоянно говорят, что рынок и государство противоположны друг другу и что только в пространстве между ними у человека остается простор

для действий. Но это ложное противопоставление. Государства создали рынки. Рынкам требуется государство. Одно не может существовать без другого, по крайней мере в том виде, в котором мы наблюдаем их сегодня.

Глава 4

Жестокость и искупление

Продают правого за серебро и бедного – за пару сандалий.
Амос 2:6

Читатель, возможно, заметил, что спор между теми, кто считает деньги товаром, и теми, кто видит в них долговые расписки, так и не решен. Так что же такое деньги? Пока ответ кажется очевидным: и то и другое. Много лет назад Кейт Харт, вероятно самый известный и самый авторитетный современный антрополог, занимающийся этим вопросом, отмечал, что у каждой монеты есть две стороны:

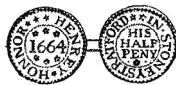
Достаньте монету из кармана. Одна ее сторона – это «орел», символ политической власти, чеканящей монеты; другая – «решка», точное указание того, что стоит монета как средство обмена. Одна сторона напоминает нам, что государства выпускают деньги и что деньги изначально связывают людей в обществе и, возможно, являются символом этой связи. Другая сторона представляет монету как вещь, которая может определенным образом соотноситься с другими вещами^[116].

Разумеется, деньги не были изобретены для того, чтобы устранить неудобство, возникающее при меновой торговле между соседями, – просто потому, что соседям не было нужды ее вести. Однако система кредитных денег в чистом виде также имела серьезные недостатки. Кредитные деньги основаны на доверии, а на конкурентных рынках доверие – товар редкий, особенно в деловых отношениях между посторонними людьми. Серебряные монеты с изображением Тиберия, имевшие хождение в Римской империи, имели намного большую стоимость, чем металл, из которого они делались^[117]. Это происходило во многом потому, что правительство Тиберия было готово принимать их по такой стоимости. Персидское же правительство, вероятно, к такому готово не было, а правительство династии Маурьев и китайские власти точно не были готовы. Большое количество римских золотых и серебряных монет оказались в Индии и даже в Китае; по-видимому, это произошло прежде всего потому, что они изготавливались именно из золота и серебра.

То, что справедливо для таких обширных империй, как Римская или Китайская, тем более справедливо для шумерских или греческих городов-государств, не говоря уже о средневековой Европе или Индии, которые были раздроблены на множество королевств, городов и мелких княжеств. Как я отмечал, зачастую было не очень ясно, что происходило внутри них и за их пределами. В рамках сообщества – города, гильдии или религиозной общины – в роли денег могло выступать все что угодно, при условии что каждый знал, что кто-то был готов принять это в качестве уплаты долга. Особенно ярким примером здесь служит ситуация в некоторых городах Сиам в XIX веке: мелкой разменной монетой там были исключительно китайские игровые фишки из фарфора – эквивалент покерных фишек, – которые выпускались местными казино. Если одно из этих казино оказывалось банкротом или утрачивало лицензию, его владельцы должны были послать глашатая, который шел по улицам города, ударяя в гонг и возвещая, что у держателей таких фишек есть три дня на их обмен^[118]. Для более крупных сделок, разумеется, использовались деньги, имевшие хождение и за пределами города (как правило, золото или серебро).

Точно так же на протяжении многих веков английские лавки пускали в обращение собственные деревянные, свинцовые или кожаные денежные знаки. Такая практика часто была

незаконной, но сохранялась до относительно недавнего времени. Вот пример монет, которые в XVII веке выпускал некий Генри, имевший магазин в Стони-Стратфорд, в Бекингемшире.



Здесь действует все тот же принцип: Генри пускал в оборот разменную монету в виде долговых расписок, которые можно было погасить в его собственном магазине. Они могли иметь широкое хождение, по крайней мере, среди тех людей, которые поддерживали с ним постоянные деловые отношения. Но маловероятно, что они использовались далеко за пределами Стони-Стратфорда; большинство таких денежных знаков обращались в радиусе нескольких районов. Для более крупных сделок каждый, в том числе Генри, требовал такие деньги, которые принимались везде, в том числе в Италии или во Франции^[119].

На протяжении большей части истории даже там, где есть сложно устроенные рынки, мы обнаруживаем целую кучу самых разных денег. Некоторые из них могли изначально появиться из меновой торговли между иностранцами – часто приводят примеры использования в качестве денег какао-бобов в Мезоамерике и соли в Эфиопии^[120]. Другие виды денег родились из кредитных систем или из споров о том, какие предметы должны приниматься в качестве уплаты налогов или прочих долгов, причем часто выбор таких предметов оспаривался. Можно многое узнать о балансе политических сил в данное время и в данном месте по тому, какие вещи использовались в качестве денег. Например, подобно тому как виргинские плантаторы сумели провести закон, обязывающий владельцев лавок принимать табак в качестве денег, средневековые крестьяне Померании неоднократно убеждали своих правителей в том, чтобы налоги, пени и таможенные пошлины, которые устанавливались в римской монете, уплачивались вином, сыром, перцем, цыплятами, яйцами и даже селедкой. Это сильно раздражало купцов, которым приходилось возить с собой все эти вещи, чтобы уплачивать сборы, или покупать их на месте по ценам, которые, естественно, были выгодны тем, кто их продавал^[121]. В этих краях преобладали не крепостные, а свободные крестьяне, имевшие довольно большой политический вес. В другие времена и в других местах сильнее оказывались интересы землевладельцев и купцов.

В общем, деньги – это почти всегда что-то между товаром и долговой распиской. Возможно, поэтому монеты – кусочки золота или серебра сами по себе являются ценным товаром, но, когда на них чеканился символ местной политической власти, они становились еще более ценными – по-прежнему остаются для нас квинтэссенцией денег. Они лучше всего отражают расхождения по поводу того, чем являются деньги в первую очередь. Более того, соотношение между двумя сторонами денег было поводом для постоянных политических споров.

Иными словами, борьба между государством и рынком, между правительствами и купцами не является неотъемлемой частью человеческой природы.

* * *

Может показаться, что две наши исходные истории – миф о меновой торговле и миф об изначальном долге – бесконечно далеки друг от друга, но и они в некотором смысле являются двумя сторонами одной монеты. Одна подразумевает другую. Только если мы представляем человеческую жизнь как ряд коммерческих сделок, мы можем рассматривать наши взаимоотношения с Вселенной в категориях долга.

За примером я позволю себе обратиться – этот выбор может показаться неожиданным – к Фридриху Ницше, который предельно ясно понимал, что происходит, когда вы пытаетесь описывать мир в коммерческих терминах.

Его книга «К генеалогии морали» вышла в 1887 году. В ней Ницше начинает с аргумента, который мог быть напрямую позаимствован у Адама Смита, но идет на шаг дальше, чем Смит, утверждая, что не только меновая торговля, но и купля и продажа сами по себе предшествуют любой другой форме человеческих отношений. Чувство личной обязанности, отмечает он,

проистекало из древнейших и изначальных личных отношений, из отношения между покупателем и продавцом, заимодавцем и должником: здесь впервые личность выступила против личности, здесь впервые личность стала тягаться с личностью. Еще не найдена столь низкая ступень цивилизации, на которой не были бы заметны хоть какие-либо следы этого отношения. Устанавливать цены, измерять ценности, измышлять эквиваленты, заниматься обменом – это в такой степени предвосхищало начальное мышление человека, что в известном смысле и было самим мышлением: здесь вырабатывались древнейшие повадки сообразительности, здесь хотелось бы усмотреть и первую накипь человеческой гордости, его чувства превосходства над прочим зверьем. Должно быть, еще наше слово «человек» (Mensch) выражает как раз нечто от этого самочувствия: человек (manas) обозначил себя как существо, которое измеряет ценности, которое оценивает и мерит в качестве «оценивающего животного как такового». Купля и продажа, со всем их психологическим инвентарем, превосходят по возрасту даже зачатки каких-либо общественных форм организации и связей: из наиболее рудиментарной формы личного права зачаточное чувство обмена, договора, долга, права, обязанности, уплаты было перенесено впервые на самые грубые и изначальные комплексы общины (в их отношении к схожим комплексам) одновременно с привычкой сравнивать, измерять, исчислять власть властью⁴[122].

Смит, как мы помним, тоже считал, что истоки языка, да и человеческого мышления в целом, лежат в нашей склонности «обменивать одну вещь на другую», в которой он также усматривал истоки рынка^[123]. Стремление к торговле, к сравнению стоимости – это то, что делает нас разумными существами и отличает от прочих животных. Общество появляется позже, а значит, наши представления об ответственности перед другими людьми изначально формулировались в сугубо коммерческих терминах.

Однако, в отличие от Смита, Ницше никогда не приходило в голову, что можно представить такой мир, в котором все подобные сделки одновременно взаимно уравниваются. Любая система торгового учета, утверждал он, будет порождать кредиторов и должников. Он полагал, что именно из этого факта возникла человеческая нравственность. Обратите внимание, говорит он, на то, что немецкое слово "schuld" означает и долг, и вину. Изначально быть в долгу значило просто быть виновным, и кредиторы получали удовольствие от того, что наказывали несостоятельного должника, подвергая его тело «всем разновидностям глумлений и пыток, скажем срезали с него столько, сколько на глаз соответствовало величине долга»^[124]. Ницше даже дошел до утверждения о том, что варварские правды, оговаривавшие, сколько стоит выбитый глаз или отрезанный палец, изначально устанавливали не

⁴ Здесь и далее перевод приводится по изданию: Ницше Фридрих. К генеалогии морали // Соч. в 2 т. Т. 2 /пер. К.А. Свасьяна. М.: Мысль, 1990.

денежную компенсацию за потерянные глаза и пальцы, а количество тела должника, которое позволялось взять кредиторам! Стоит ли говорить о том, что никаких доказательств этого он не приводил (их и не существует)^[125]. Но требовать доказательств значило бы опровергнуть это утверждение. Здесь мы имеем дело не с подлинным историческим аргументом, а с чистой игрой фантазии.

Когда люди стали создавать общины, продолжает Ницше, они неизбежно представляли свои отношения с ними в этих категориях. Племя обеспечивает им мир и безопасность, поэтому они в долгу перед ним. Подчиняться его законам значит выплачивать ему долг (снова «уплата общественного долга»). Но и этот долг, говорит он, уплачивается – и здесь тоже – посредством жертвоприношения:

В рамках первоначальной родовой кооперации – мы говорим о первобытной эпохе – каждое живущее поколение связано с более ранним и в особенности со старейшим, родоначальным, поколением неким юридическим обязательством <...> Здесь царит убеждение, что род обязан своей *устойчивостью* исключительно жертвам и достижениям предков – и что следует *оплатить* это жертвами же и достижениями: тем самым признают за собою *долг*, который постоянно возрастает еще и оттого, что эти предки в своем посмертном существовании в качестве могущественных духов не перестают силою своей предоставлять роду новые преимущества и авансы. Неужели же даром? Но для того неотесанного и «нищего душой» времени не существует никакого «даром». Чем же можно воздать им? Жертвами (первоначально на пропитание, в грубейшем смысле), празднествами, часовнями, оказанием почестей, прежде всего послушанием, – ибо все обычаи, будучи творениями предков, суть также их уставы и повеления. Достаточно ли им дают во всякое время? – это подозрение остается и растет^[126].

Иными словами, Ницше считает, что если мы отталкиваемся от рассуждений Адама Смита о человеческой природе, то неизбежно придем к чему-то в духе теории изначального долга. С одной стороны, законам прародителей мы подчиняемся потому, что чувствуем себя в долгу перед ними: именно поэтому мы полагаем, что община имеет право действовать «как рассерженный кредитор» и наказывать нас за нарушение этих законов. В более широком смысле в глубине души мы чувствуем, что никогда не сможем расплатиться с прародителями, что никакая жертва (даже принесение в жертву первенца) не способна искупить нас. Мы трепещем перед прародителями, и, чем сильнее и могущественнее становится община, тем могущественнее они кажутся, пока наконец прародитель не «преображается в бога». Когда общины превращаются в царства, а царства – в мировые империи, боги обретают вселенский характер, начинают претендовать на власть над Небесами и низвергать молнии и в конечном счете достигают кульминации в образе христианского Бога, который, будучи максимальным божеством, влечет за собой и «максимум чувства вины на земле». Даже наш прародитель Адам изображается уже не кредитором, а нарушителем закона, а значит, должником, который передал нам свое бремя первородного греха:

покуда наконец с нерасторжимостью вины не зачинается и нерасторжимость искупления, мысль о ее неоплатности (о «вечном наказании») <...> пока мы разом не останавливаемся перед парадоксальным и ужасным паллиативом, в котором замученное человечество обрело себе временное облегчение, перед этим штрихом гения христианства: Бог, сам жертвующий собою во искупление вины человека, Бог, сам заставляющий себя платить самому себе. Бог, как единственно способный искупить в

человеке то, что в самом человеке стало неискупимым, – займодавец, жертвующий собою ради своего должника из любви (неужели в это поверили?), из любви к своему должнику!^[127]

Все это выглядит очень логично, если вы исходите из начальной посылки Ницше. Проблема в том, что сама эта посылка – бессмысленна.

Есть все основания полагать, что Ницше знал, что эта посылка бессмысленна; на самом деле в этом и была вся суть. Ницше здесь отталкивается от стандартных, общепринятых взглядов на человеческую природу, преобладавших в его эпоху (и в значительной степени преобладающих до сих пор) и заключающихся в том, что мы рациональные вычислительные машины, что торговый личный интерес предшествует обществу, что само «общество» лишь накладывает временные ограничения на вытекающий из этого конфликт. То есть он исходит из обычных буржуазных взглядов и развивает их в таком направлении, которое шокирует буржуазную публику.

Эта игра стоит свеч, и никто не играл в нее лучше Ницше; но ее рамки полностью задаются буржуазной философией. Она ничего не может сказать о том, что лежит за ее пределами. Лучшим ответом всякому, кто всерьез рассматривает фантазии Ницше о диких охотниках, отрезающих друг у друга куски тел за неуплату долга, могут быть слова настоящего охотника и собирателя, эскимоса из Гренландии, ставшего знаменитым благодаря «Книге эскимосов». Ее автор, датский писатель Петер Фрейхен, пишет, что однажды, когда он вернулся домой голодным из неудачного похода за моржами, один из более удачливых охотников отрезал ему несколько сотен фунтов мяса. Фрейхен горячо его поблагодарил. Охотник с негодованием ответил:

«В нашей стране все мы люди! – сказал охотник. – А раз мы люди, то мы помогаем друг другу и нам не нравится, когда кто-то нас за это благодарит. То, что я поймал сегодня, ты можешь поймать завтра. Мы здесь говорим, что подарками человек обретает рабов, а плетью – собак»^[128].

Последняя строчка своего рода классика антропологии. Антропологическая литература об эгалитарных охотничьих обществах богата рассказами о людях, которые отказываются рассчитывать долги и кредиты. Вместо того чтобы считать себя человеком на том основании, что он способен производить экономические вычисления, охотник настаивал, что на самом деле быть человеком значит отказаться от подобных расчетов и измерений и не пытаться запомнить, кто что кому дал, по той причине, что такого рода поведение неизбежно создаст мир, в котором мы начнем «сравнивать, измерять, исчислять власть властью» и превращать друг друга в рабов или собак посредством долга.

Дело не в том, что он, как многие миллионы подобных преисполненных любви к равенству умов в истории, не понимал, что люди имеют склонность к расчетам. Если бы он этого не знал, он не смог бы сказать, что он делает. Конечно, у нас есть склонность к расчетам. У нас вообще много склонностей. В любой реальной жизненной ситуации эти склонности одновременно ведут нас в различных, противоположных друг другу направлениях. Каждая из них не более реальна, чем прочие. Вопрос в том, какую из них мы признаем ключевой для нашей человеческой природы и кладем в основу нашей цивилизации. Предложенный Ницше анализ долга полезен тем, что показывает, что если мы начинаем с посылки о том, что человеческое мышление исходит прежде всего из коммерческого расчета и что купля и продажа являются основами человеческого общества, то свои представления об отношениях с космосом мы неизбежно будем выражать в категориях долга.

* * *

Я думаю, что Ницше помогает нам понять еще и такой термин, как искупление. Рассказ Ницше о «первобытных временах» может быть абсурдным, но его описание христианства, того, как чувство долга преобразуется в неизбежное чувство вины, вина – в ненависть к самому себе, а ненависть к самому себе – в самоистязание, выглядит очень точным.

Почему, например, мы называем Христа «искупителем»? Изначально слово «искупление» значит выкуп или возвращение себе чего-то, что было оставлено в качестве обеспечения займа, приобретение чего-то посредством выплаты долга. Очень странно осознавать, что самая суть христианского учения, само спасение, принесение Богом в жертву своего сына во имя спасения человечества от вечного проклятия, должно описываться в категориях финансовой сделки.

Ницше исходил из тех же посылок, что и Адам Смит, но о ранних христианах этого не скажешь. Корни таких рассуждений лежат глубже, чем представление Смита о нации лавочников. Не только авторы Брахман заимствовали язык рынка для рассуждений о человеческой природе. На самом деле до определенной степени так поступали все мировые религии.

Это происходило потому, что все они, от зороастризма до ислама, родились из оживленных споров о роли денег и рынка в человеческой жизни и особенно о том, как эти институты соотносились с ключевыми вопросами – что люди должны были друг другу. Вопрос о долге и споры о нем затрагивали все стороны политической жизни той поры. Эти споры выливались в восстания, жалобы и создание реформаторских движений. Некоторые из этих движений находили союзников в храмах и дворцах, другие беспощадно подавлялись. Большая часть требований, лозунгов и специфических вопросов, которые они поднимали, сегодня утрачены. Мы просто не знаем, какими были политические споры в сирийской харчевне в 750 году до н. э. В итоге тысячи лет мы созерцали священные тексты, полные политических аллюзий, очевидных для любого читателя, жившего в эпоху, когда они были написаны; но мы об их смысле можем только догадываться^[129].

Одна из особенностей Библии состоит в том, что в ней сохранились некоторые обрывки этого более широкого контекста. Вернемся к понятию искупления: древнееврейские слова "padah" и "goal" – и то и другое переводятся как «искупление» – могли означать выкуп чего-то, что человек продал кому-то другому, прежде всего земли предков или какого-либо предмета, удерживавшегося кредиторами в качестве залога^[130]. Именно последнее, по-видимому, и имели в виду пророки и богословы: выкуп залогов и особенно членов семьи должника, удерживавшихся как обеспечение долга. Судя по всему, в эпоху пророков экономика иудейских царств начала испытывать долговые кризисы, давно ставшие привычными в Месопотамии: в годы неурожая бедняки залезали в долги перед богатыми соседями или состоятельными заимодавцами в городах, теряли права на свои поля и становились держателями земли, которая прежде им принадлежала, а их сыновья и дочери отправлялись работать слугами в хозяйствах кредиторов или даже продавались в рабство за границу^[131]. В книгах ранних пророков есть намеки на такие кризисы^[132], но наиболее явно о них говорится в книге Неемии, написанной в персидские времена:

Были и такие, которые говорили: поля свои, и виноградники свои, и дома свои мы закладываем, чтобы достать хлеба от голода.

Были и такие, которые говорили: мы занимаем серебро на подать царю под залог полей наших и виноградников наших;

у нас такие же тела, какие тела у братьев наших, и сыновья наши такие же, как их сыновья; а вот, мы должны отдавать сыновей наших и

дочерей наших в рабы, и некоторые из дочерей наших уже находятся в порабощении. Нет никаких средств для выкупа в руках наших; и поля наши, и виноградники наши у других.

Когда я услышал ропот их и такие слова, я очень рассердился.

Сердце мое возмутилось, и я строго выговорил знатнейшим и начальствующим и сказал им: вы берете лихву с братьев своих. И созвал я против них большое собрание^[133].

Неемия, виночерпий персидского царя, был евреем, родившемся в Вавилоне. В 444 году до н. э. он сумел уговорить Великого царя назначить его наместником его родной Иудеи. Он также получил разрешение заново отстроить иерусалимский храм, который Навуходоносор разрушил двумя столетиями ранее. В ходе работ были найдены и восстановлены священные тексты; в некотором смысле тогда и было создано то, что мы сегодня называем иудаизмом.

Очень скоро Неемия столкнулся с социальным кризисом. Вокруг было множество обедневших крестьян, не способных платить налоги; кредиторы забирали детей бедняков. Его первой реакцией стало провозглашение указа о «чистом листе» в классическом вавилонском стиле: он сам родился в Вавилоне и явно был знаком с этим принципом. Прощению подлежали все некоммерческие долги. Были установлены максимальные процентные ставки по кредитам. В то же время Неемии удалось обнаружить, изучить и снова ввести в действие многие древние иудейские законы, которые сохранились в Исходе, Второзаконии и Левите и в некоторых отношениях шли еще дальше, институционально закрепляя этот принцип^[134]. Самым известным из них был закон о прощении долгов, гласивший, что все долги автоматически списываются «в субботний год» (т. е. по истечении семи лет) и что все те, кто томился в неволе из-за таких долгов, должны быть освобождены^[135].

В Библии, как и в Месопотамии, под «свободой» понималось прежде всего освобождение от долга. С течением времени в этом ключе стала истолковываться и сама история еврейского народа: освобождение из египетского рабства стало первым, хрестоматийным, действием искупления; исторические бедствия евреев (поражение, завоевание, изгнание) рассматривались как несчастья, которые должны были привести к финальному искуплению с приходом Мессии, хотя, как предупреждали пророки вроде Иеремии, произойти это могло только после того, как евреи искренне покаются в своих грехах (обращение друг друга в рабство, поклонение ложным богам, нарушение заповедей)^[136]. В таком свете принятие этого термина христианами вряд ли может удивить. Искупление было освобождением от бремени греха и вины, и конец истории должен ознаменоваться тем, что все долги будут полностью упразднены, а звуки ангельских труб возвестят об окончательном прощении грехов.

В таком случае «искупление» уже не подразумевает выкуп чего-то. Речь идет скорее о разрушении всей системы учета. Во многих городах Ближнего Востока так буквально и происходило: во время списания долгов одним из обычных действий была церемония уничтожения табличек, содержащих финансовые записи, – это действие повторялось, хотя и с меньшей помпой, в ходе любого крупного крестьянского восстания в истории^[137].

Это ведет к другой проблеме: что можно сделать в то время, которое предшествует окончательному искуплению? Эту проблему Иисус поднимает в одной из своих самых волнующих притч – притче о непрощающем рабе:

Посему Царство Небесное подобно царю, который захотел сосчитаться с рабами своими;

когда начал он считаться, приведен был к нему некто, который должен был ему десять тысяч талантов;

а как он не имел, чем заплатить, то государь его приказал продать его, и жену его, и детей, и всё, что он имел, и заплатить;

тогда раб тот пал и, кланяясь ему, говорил: государь! потерпи на мне, и всё тебе заплачу.

Государь, умилосердившись над рабом тем, отпустил его и долг простил ему.

Раб же тот, выйдя, нашел одного из товарищей своих, который должен был ему сто динариев, и, схватив его, душил, говоря: отдай мне, что должен.

Тогда товарищ его пал к ногам его, умолял его и говорил: потерпи на мне. и всё отдам тебе.

Но тот не захотел, а пошел и посадил его в темницу, пока не отдаст долга.

Товарищи его, видев происшедшее, очень огорчились и, придя, рассказали государю своему всё бывшее.

Тогда государь его призывает его и говорит: злой раб! весь долг тот я простил тебе, потому что ты упросил меня;

не надлежало ли и тебе помиловать товарища твоего, как и я помиловал тебя?

И, разгневавшись, государь его отдал его истязателям, пока не отдаст ему всего долга^[138].

Это поразительный текст. С одной стороны, это шутка; с другой – трудно представить себе что-то более серьезное.

Начнем с царя, пожелавшего «сосчитаться» со своими рабами. Исходная посылка абсурдна. Цари, как и боги, не могут вступать в отношения обмена со своими подданными, поскольку равенство между ними невозможно. А этот царь явно *является* Богом. Разумеется, ни о каком сведении счетов речи быть не может.

Поэтому в лучшем случае мы имеем дело с царской причудой. Абсурдность исходной посылки подчеркивает сумма, которую должен царю первый же человек, приведенный к нему. В Древней Иудее сказать, что кто-то должен кредитору «десять тысяч талантов», означало приблизительно то же самое, что сегодня сказать, что кто-то должен «сто миллиардов долларов». Эта цифра тоже шутка; она просто указывает «сумму, которую не смог бы выплатить ни один человек»^[139].

Оказавшись перед необходимостью выплатить бесконечный экзистенциальный долг, раб только и может, что соврать: «Сто миллиардов? Конечно, смогу! Дай мне только еще немного времени». Потом Господь так же произвольно его прощает.

Далее обнаруживается, что прощение имеет одно условие, о котором раб не знает. От него требуется, чтобы он сам вел себя так же по отношению к другим людям – в данном конкретном случае по отношению к другому рабу, который должен ему тысячу баксов, если перевести это на современный язык. Провалив испытание, первый раб попадает в ад на вечные времена или «пока он не отдаст всего долга» – в данном случае это ровно то же самое.

Долгое время эта притча представляла большую сложность для богословов. Обычно ее истолковывают как рассказ о бесконечной щедрости и милости Господа и о том, как мало он требует от нас взамен; т. е. косвенно подразумевается, что вечное истязание нас в аду не так уж необоснованно, как может показаться. Конечно, непрощающий раб удивительно гнусный персонаж. Но меня здесь больше всего поражает негласное утверждение, что прощение в этом мире вообще невозможно. Фактически именно это и говорят христиане, когда зачитывают «Отче наш» и просят Бога простить «нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим»^[140]. История, изложенная в притче, повторяется тут почти дословно, и последствия ее столь же мрачные. В конце концов, большинство христиан, читающих эту молитву,

знают, что они обычно не прощают своих должников. Почему тогда Бог будет прощать им их грехи?^[141]

Более того, здесь еще и повторяется старое утверждение о том, что на самом деле мы не смогли бы соответствовать этим стандартам, даже если бы попытались. Одна из причин, почему новозаветный Иисус является столь притягательным персонажем, состоит в том, что никогда толком не ясно, что именно он нам говорит. Все можно истолковывать двояко. Когда он призывает своих последователей прощать все долги, не бросать первый камень, подставлять другую щеку, возлюбить врагов своих, раздавать свое имущество беднякам, неужели он и правда надеется, что они будут так поступать? Или же, требуя этого, он упрекает нас в том, что раз мы к этому не готовы, то все мы грешники, которые могут спастись только в ином мире? Ведь такая постановка вопроса может использоваться для того, чтобы оправдать все что угодно. Согласно ей человеческая жизнь порочна в принципе и даже духовные дела можно выразить в коммерческих терминах. Все эти подсчеты грехов, наказаний и прощений, которые вели Дьявол и святой Петр с их конкурирующими учетными книгами, обычно сопровождалось подспудным чувством, что все это фарс, поскольку сам тот факт, что мы вынуждены играть в эти расчеты грехов, показывает, что, в сущности, прощения мы не достойны.

Мировые религии, как мы увидим, полны такого рода двусмысленности. С одной стороны, они выступают против рынка; с другой – пытаются выразить свой протест в коммерческих категориях, словно утверждая, что превращение человеческой жизни в череду сделок – дело не очень хорошее. Мне кажется, что даже эти немногие примеры показывают, как сильно ретушируют действительность общепринятые версии происхождения и истории денег. Есть даже какая-то наивность в историях о соседях, меняющих картошку на лишнюю пару обуви. Когда древние размышляли о деньгах, вряд ли им в голову в первую очередь приходил дружеский обмен.

Конечно, кто-то мог подумать о своем счете в местном шинке или, если это был купец или управляющий, о складах, счетных книгах или экзотических заморских товарах. Но большинству скорее в голову приходила продажа рабов и выкуп пленников, алчность откупщиков и бесчинства победоносных армий, залогов и проценты, кражи и вымогательство, месть и наказание и прежде всего противоречие между, с одной стороны, необходимостью денег для нахождения невесты с целью создания семьи и рождения детей и, с другой – использованием этих же самых денег для разрушения семей посредством накопления долгов, в оплату которых кредитор забирал жену и детей. «Некоторые из дочерей наших уже находятся в порабощении. Нет никаких средств для выкупа в руках наших». Можно только догадываться о том, что означали эти слова для отца из патриархального общества, в котором способность мужчины защищать честь своей семьи была всем. Вот что означали деньги для большинства людей почти на всем протяжении человеческой истории: леденящую душу перспективу, что сыновей и дочерей заберут в дома омерзительных чужаков, где они будут чистить отхожие места и время от времени оказывать сексуальные услуги, подвергаться всем мыслимым видам насилия и злоупотреблений в течение долгих лет, если не вечно, в то время как их родители будут бессильно ждать, пряча глаза от соседей, которые точно знают, что происходит с теми, кого они должны были защищать^[142]. Разумеется, это худшее, что могло произойти с человеком, – именно поэтому в притче это могло служить заменой преданию в руки истязателям на всю жизнь. И это только с точки зрения отца. Можно только догадываться, что чувствовала при всем этом дочь. А ведь в течение человеческой истории многие миллионы дочерей узнали (многие узнают и сейчас), что это означает.

Могут возразить, что это было в порядке вещей, так же как и наложение дани на завоеванные народы: это могло вызывать негодование, но не считалось вопросом нравственности, справедливости и несправедливости. Такие вещи случаются. Крестьяне так обычно и

относились к подобным феноменам на всем протяжении человеческой истории. Но больше всего в исторических хрониках поражает то, что в случае долговых кризисов многие относились к этому *не так*. Многие возмущались. Этих недовольных было так много, что большая часть нашей современной лексики, касающейся социальной справедливости, рабства и освобождения, до сих пор отражает древние споры о долгах.

Это тем более удивительно, что многие другие вещи принимались как совершенно нормальные. Такого гнева не вызывала, например, кастовая система или, если уж на то пошло, институт рабства^[143]. Безусловно, и рабы, и неприкасаемые часто жили в не менее ужасающих условиях. Бесспорно, многие протестовали против этого. Почему же именно выступления должников имели такой нравственный вес? Почему должникам лучше других удавалось привлечь к своим проблемам внимание священников, пророков, чиновников и социальных реформаторов? Почему чиновники вроде Неемии так сочувственно относились к их жалобам, негодовали и собирали большие собрания?

Некоторые объясняют это практическими соображениями: долговые кризисы уничтожали свободное крестьянство, а именно свободных крестьян призывали на службу в армию^[144]. Бесспорно, такой фактор был, но он, очевидно, не был единственным. Нет оснований полагать, что, скажем, Неемия, негодуя против ростовщиков, беспокоился в первую очередь о том, сможет ли он набрать рекрутов для персидского царя. Есть более фундаментальная причина.

Долг отличается тем, что в его основе лежит презумпция равенства.

Быть рабом или принадлежать к низшей касте значит занимать более низкое положение. Здесь мы имеем дело с сугубо иерархическими отношениями. В случае долга мы имеем дело с двумя людьми, которые выступают равными сторонами в договоре. По крайней мере, в рамках договора они с юридической точки зрения одинаковы.

Можно добавить, что когда в древнем мире люди, более или менее равные по социальному положению, одалживали друг другу деньги, то условия займа, как правило, были весьма щадящими. Проценты зачастую не взимались, а если они и были, то очень низкими. «И не бери с меня процент, – писал один состоятельный ханаанин другому в табличке, датированной приблизительно 1200 годом до н. э., – в конце концов, мы оба благородные люди»^[145]. Между близкими родственниками многие кредиты, видимо, представляли собой, как и сейчас, подарки, и никто всерьез не рассчитывал на то, что их будут возвращать. Совсем иное дело – займы, которые богачи предоставляли беднякам.

Проблема в том, что, в отличие от статусных различий вроде касты или рабства, между богатыми и бедными нет такой четкой грани. Можно себе представить реакцию крестьянина, который пришел в дом к состоятельному кузену, считая, что «люди должны помогать друг другу», а через год-два у него забрали виноградник и увели сыновей и дочерей. Такое поведение юридически могло быть оправданно, если заем представлялся не как форма взаимопомощи, а как коммерческая сделка: договор есть договор. (Это также требовало возможности обратиться к высшей силе для обеспечения выполнения условий договора.) Но как бы то ни было, восприниматься оно могло только как ужасное предательство. Более того, если это поведение представлялось как нарушение договора, то все дело превращалось в нравственную проблему: обе стороны должны быть равными, но одна из них не сумела выполнить условия сделки. Психологически это делало еще более болезненной бесправность положения должника, поскольку о нем могли сказать, что судьбу его дочери решила его собственная низость. Но от этого необходимость отбросить угрызения совести становилась тем более настоятельной: «У нас такие же тела, какие тела у братьев наших, и сыновья наши такие же, как их сыновья». Мы все одинаковы. Мы обязаны учитывать потребности и интересы других. Как мой брат мог так обойтись со мной?

Особенно убедительные нравственные аргументы должники могли выдвигать в Ветхом Завете. Авторы Второзакония постоянно напоминали своим читателям: не были ли евреи рабами в Египте и не освободил ли их всех Бог? Было ли справедливо отнимать землю у других, если они сами получили землю обетованную, которой должны были делиться? Было ли справедливо, что потомки освобожденных рабов обращали в рабство детей друг друга?^[146] Однако в подобных ситуациях аналогичные аргументы выдвигались почти повсюду в Древнем мире: в Афинах, Риме и даже в Китае, где, согласно легенде, древний император изобрел чеканку монет, для того чтобы выкупить детей семей, вынужденных продать их после череды опустошительных наводнений.

Почти на всем протяжении истории открытый политический конфликт между классами облекался в требование списания долгов, т. е. освобождения тех, кто оказался в неволе, а также более справедливого распределения земли. В Библии и других религиозных традициях мы видим следы нравственных аргументов, которыми оправдывались эти требования: они могли облекаться в самые разнообразные формы, но всегда так или иначе выражались языком рынка.

Глава 5

Краткий трактат о нравственных основаниях экономических отношений

Чтобы рассказать историю долга, нужно еще и воссоздать картину того, как язык рынка пронизал все стороны человеческой жизни и даже обеспечил терминологию для нравственного и религиозного протеста против него. Мы уже видели, что ведийское и христианское учения в конечном счете двигались в одном и том же направлении: описав нравственность в категориях долга, они уже самым этим фактом показали, что в действительности нравственность не может быть сведена к долгу и должна основываться на чем-то другом^[147].

Но на чем? Религиозные традиции предпочитают всеобъемлющие, космологические ответы: альтернатива нравственности долга лежит в признании единения со Вселенной, или в ожидании ее неизбежного уничтожения, или в полном подчинении божеству, или в уходе в другой мир. Мои цели скромнее, поэтому я буду придерживаться противоположного подхода. Если мы действительно хотим понять нравственные основания экономической и – шире – человеческой жизни, то, на мой взгляд, начинать нужно с самых мелких вещей: с деталей повседневной жизни в обществе, с манеры общения с друзьями, врагами и детьми; с таких незначительных жестов (подать соль, стрелкнуть сигарету), о которых мы, как правило, вообще не задумываемся. Антропология показала, сколь разными могут быть формы человеческой организации. Но она выявила и примечательные общие черты – базовые нравственные принципы, которые существуют повсюду и к которым люди обращаются всякий раз, когда перевозят туда-сюда разные предметы или оспаривают права других людей на обладание ими.

В свою очередь, одна из причин, по которым человеческая жизнь так сложна, состоит в том, что многие из этих принципов противоречат друг другу. Как мы увидим ниже, они постоянно толкают нас в диаметрально противоположных направлениях. Нравственная логика обмена, а значит и долга, лишь один из них; в каждой конкретной ситуации на людей воздействуют совершенно различные принципы. В этом смысле нравственная путаница, о которой шла речь в первой главе, вовсе не нова; представления о нравственности до определенной степени исходят из этого противоречия.

* * *

Чтобы разобраться в том, что же такое долг, нужно понять, чем он отличается от прочих видов обязательств, которые люди могут нести друг перед другом; а это, в свою очередь, требует определить, в чем эти обязательства, собственно, заключаются. Однако на этом пути нас ждут специфические проблемы. Как ни странно, современная социальная теория, в том числе и экономическая антропология, мало чем может помочь в этом отношении. Существует обширная антропологическая литература, например о подарках, которая берет начало от «Очерка о даре», написанного французским антропологом Марселем Моссом в 1925 году, и об «экономике дарения», функционирующих на совершенно иных принципах, чем рыночные экономики. Но в конце концов почти вся эта литература сосредоточивается на обмене дарами, считая само собой разумеющимся, что любое действие дарения влечет за собой долг и что получатель должен непременно отплатить дарителю. Так же как и в случае великих религий, логика рынка проникла даже в рассуждения тех, кто громче всех выступал против нее. Поэтому чтобы создать новую теорию, я начну с азов.

Часть проблемы заключается в том, что сегодня в социальных науках экономика занимает исключительное место. Во многих отношениях к ней относятся как к ведущей дисциплине. От всякого, кто в Америке руководит чем-то важным, ждут, что он разбирается в экономической теории или, по крайней мере, знаком с ее базовыми принципами. В результате эти принципы стали считать устоявшейся истиной, не требующей доказательства (мы понимаем, что сталкиваемся с устоявшейся истиной, когда первой реакцией на попытку ее оспорить становится обвинение в обыкновенном невежестве: «Вы явно никогда не слышали о кривой Лаффера»; «Вам точно надо пройти курс по Экономике 101»; убежденность в непогрешимости теории настолько велика, что ни один из тех, кто ее понимает, не может с ней не соглашаться). Более того, те области социальной теории, которые более всего претендуют на «научный статус», – например, «теория рационального выбора» – начинают с тех же исходных допущений относительно человеческой психологии, что и экономисты, а именно что людей лучше рассматривать как игроков, движимых личными интересами и прикидывающих, как в любой ситуации в обмен на минимальные усилия или вложения добиться наилучших условий, наибольшей выгоды, удовольствия или счастья. Звучит забавно, если учесть, что экспериментальные психологи неоднократно доказывали, что такие допущения просто не соответствуют действительности^[148].

С давних пор предпринимались попытки создать теорию социального взаимодействия на основе более благородных представлений о человеческой природе. Их авторы настаивали на том, что нравственная жизнь представляет собой нечто большее, чем взаимная выгода, что она базируется прежде всего на чувстве справедливости. Ключевым понятием здесь стала «взаимность», чувство равенства, баланса, честности и симметрии, которое воплощалось в нашем представлении о справедливости как о некоей шкале. Экономические сделки были лишь одним из вариантов принципа сбалансированного обмена, причем вариант этот явно давал сбой. Но при более детальном рассмотрении выяснялось, что все человеческие отношения основаны на том или ином варианте взаимности.

В 1950–1970-х годах все словно помешались на этой идее в форме так называемой теории обмена, которая разрабатывалась в бесчисленных вариациях – от «социальной теории обмена» Джорджа Хоманса в США до структурализма Клода Леви-Стросса во Франции. Леви-Стросс, ставший своего рода интеллектуальным богом антропологии, выдвинул удивительную мысль о том, что человеческую жизнь можно разделить на три сферы: язык (который состоит из обмена словами), родство (которое состоит из обмена женщинами) и экономику (которая состоит из обмена вещами). Все три сферы, по его мнению, управлялись одним и тем же фундаментальным законом взаимности^[149].

Сегодня звезда Леви-Стросса уже закатилась, и в ретроспективе такие категоричные утверждения кажутся смешными. Тем не менее никто не предложил новую смелую теорию, которая пришла бы всему этому на смену. Эти допущения просто отошли на задний план. Сейчас, как и прежде, почти все считают, что общественная жизнь основана на принципе взаимности, а значит, все человеческие взаимоотношения лучше всего рассматривать как разновидности обмена. Тогда долг лежит в основе любой нравственности, потому что долг – это то, что бывает, когда еще не восстановлен некий баланс.

Но можно ли свести всю справедливость к взаимности? Довольно легко представить себе формы взаимности, которые не кажутся справедливыми. «Поступай с другими так, как хочешь, чтобы другие поступали с тобой» – на первый взгляд, прекрасная основа для системы этики, но у большинства из нас принцип «око за око» ассоциируется не со справедливостью, а с мстительной жестокостью^[150]. «Дружескую услугу стоит возвращать» – это приятное чувство, но «почеши мне спину, а я тебе почешу» – принцип политической коррупции. В то же время есть отношения, которые выглядят совершенно нравственными, но со взаимностью не имеют ничего общего. Часто приводится пример отношений между мате-

рю и ребенком. Большинство из нас восприняло чувство справедливости и нравственности от своих родителей. Но очень трудно представить отношения между ребенком и родителем, основанные на взаимности. Сделаем ли мы в таком случае вывод, что эти отношения не нравственны и не имеют ничего общего со справедливостью?

Канадская писательница Маргарет Этвуд начинает свою недавно вышедшую книгу о долге с подобного парадокса:

У писателя-анималиста Эрнеста Сетон-Томпсона был странный счет, который ему подарили, когда ему исполнился 21 год. Это были записи расходов, которые вел его отец, пока Эрнест был ребенком и подростком; в них даже была указана сумма, выплаченная доктору, который его принес, когда он родился. Еще более странно то, что, как говорят, Эрнест этот долг выплатил. Раньше я думала, что г-н Сетон-старший просто был придурком, но теперь сомневаюсь^[151].

Большинство из нас сомневаться не стало бы: такое поведение кажется ужасным и бесчеловечным. Разумеется, таким его считал и Сетон: счет он оплатил, но больше никогда не разговаривал с отцом^[152]. Отчасти поэтому выставление подобного счета и выглядит столь возмутительным. Сведение счетов означает, что обе стороны могут распрощаться друг с другом. Выставив счет отец дал понять, что не желает больше иметь дело с сыном.

Иными словами, тогда как большинство из нас считает разновидностью долга то, что мы должны нашим родителям, немногие из нас полагают, что его можно вернуть или даже что его *нужно* возвращать. Ну а если выплатить его нельзя, то что это вообще за «долг»? А если это не долг, то что тогда?

* * *

В качестве альтернативы напрашиваются те случаи взаимодействия между людьми, в которых ожидание взаимности наталкивается на стену непонимания. Рассказы путешественников XIX века полны такого рода историй. Миссионеров, работавших в некоторых частях Африки и иногда раздававших лекарства местным жителям, часто ошеломляло, как те на это реагировали. Вот характерный пример, который приводит один британский миссионер в Конго:

Через день или два после того, как мы добрались до Ваны, мы повстречали одного туземца, у которого было сильное воспаление легких. Им занялся Комбер, который кормил его наваристым куриным супом; ему обеспечили заботливый уход и уделили немало внимания, поскольку его дом находился близ лагеря. Когда мы были готовы продолжать наш путь, этот человек уже поправился. К нашему удивлению, он пришел к нам и попросил подарок и был столь же удивлен и возмущен нашим отказом, как мы – его просьбой. Мы сказали, что это ему следовало бы принести нам подарок в знак благодарности. Он ответил: «Ну что ж, у вас, белых, стыда вообще нет!»^[153]

В начале XX века французский философ Люсьен Леви-Брюль, пытаясь доказать, что «туземцы» исходили из совершенно иной логики, составил целый список подобных историй: например, о том, как человек, которого спасли, когда он тонул, попросил у своего спасителя подарить ему какую-нибудь красивую одежду или о том, как другой туземец, которого выходили после того, как его искушал тигр, потребовал нож. Один французский миссионер,

работавший в Центральной Африке, утверждал, что с ним такие вещи происходили регулярно:

Если вы спасли человеку жизнь, то должны ожидать, что в ближайшее время он вас навестит; теперь у вас есть обязательство по отношению к нему, и избавиться от него вы можете, только сделав ему подарок^[154].

Конечно, спасти кому-то жизнь – это почти всегда потрясающее чувство. Все, что окружает рождение или смерть, непременно несет в себе оттенок бесконечности и потому опрокидывает любые привычные способы нравственных подсчетов. Возможно, именно поэтому в Америке такие истории стали своего рода клише, когда я рос. Помню, как в детстве мне часто рассказывали, что у эскимосов (иногда речь шла о буддистах или китайцах, но, как ни странно, никогда об африканцах) считалось, что если ты спасаешь кому-то жизнь, то навсегда берешь на себя ответственность за этого человека. Это противоречит нашему представлению о взаимности. Но как бы то ни было, в этом тоже есть своя логика.

Мы не можем узнать, что на самом деле происходило в головах героев этих историй, поскольку не знаем, кем были эти люди и каковы были их ожидания (как они обычно общались со своими врачами, например). Но можем догадаться. Проведем мысленный эксперимент. Представим, что мы попали в такую страну, где человек, спасший другому жизнь, становился спасенному братом. Это предполагало, что они будут делиться всем и давать другому все, что ему нужно. В таком случае спасенный непременно замечал, что его ново-явленный брат – человек очень состоятельный, ему ничего особо не нужно, в то время как у самого спасенного не было многих вещей, которые мог дать ему миссионер.

С другой стороны, представьте более вероятную ситуацию, когда мы имеем дело с отношениями не между совершенно равными людьми, а совсем наоборот. Во многих частях Африки опытные целители были важными политическими деятелями, располагавшими обширной клиентелой из своих бывших пациентов. Потенциальный последователь заявляет о своей политической лояльности к нему. В этом случае дело осложняется тем, что в этой части Африки у последователей могущественных людей была довольно сильная позиция для торга. Получить надежных сторонников было трудно; важные люди должны были быть щедрыми со своими последователями, чтобы те не перешли в лагерь их противников. А значит, прося рубашку или нож, человек стремился удостовериться, действительно ли миссионер хочет сделать его своим сторонником. Напротив, расплатиться с ним стало бы оскорблением вроде поступка Сетона по отношению к отцу: приняв оплату, миссионер дал бы понять, что, хотя он и спас этому человеку жизнь, но не хочет больше иметь с ним ничего общего.

Это лишь мысленный эксперимент – повторю, что мы на самом деле не знаем, что думали африканцы. На мой взгляд, в мире такие формы радикального равенства и радикального неравенства действительно существуют и каждый наполняет их своим пониманием нравственности, своими представлениями о том, что правильно и что неправильно в данной конкретной ситуации, и эти идеи о нравственности полностью отличаются от принципа «услуга за услугу». В оставшейся части главы я в общих чертах опишу их возможные формы исходя из предположения, что экономические отношения могут основываться на трех главных нравственных принципах, которые встречаются в любом человеческом обществе и которые я буду называть коммунизмом, иерархией и обменом.

Коммунизм

Под коммунизмом я буду подразумевать любые человеческие отношения, которые строятся на принципе «от каждого по способностям, каждому по потребностям».

Я признаю, что использование слова «коммунизм» носит несколько провокативный характер. Оно вызывает сильную эмоциональную реакцию – в основном, разумеется, потому, что мы склонны идентифицировать его с «коммунистическими» режимами. Это тем более забавно, что коммунистические партии, правившие в СССР и его сателлитах и по-прежнему пребывающие у власти в Китае и на Кубе, никогда не называли системы, существовавшие в этих странах, «коммунистическими». Они именовали их «социалистическими». «Коммунизм» всегда был далеким, несколько размытым утопическим идеалом, движение к которому должно было сопровождаться отмиранием государства и который должен был быть достигнут в отдаленном будущем.

Наши представления о коммунизме определялись мифом. Давным-давно у людей все было общим – так было и в райском саду, и в Золотой век Сатурна, и у охотников и собирателей эпохи палеолита. Потом произошло грехопадение, из-за чего мы теперь страдаем от борьбы за власть и от частной собственности. Когда-нибудь благодаря развитию технологии и достижению всеобщего благосостояния мы наконец сможем, путем социальной революции или под руководством партии, вернуть все назад, восстановить общественную собственность и общественное управление коллективными ресурсами. На протяжении последних двух столетий коммунисты и антикоммунисты спорили, насколько обоснованы такие идеи и приведет их осуществление к всеобщему счастью или к кошмару. Но все они были согласны в том, что касалось базовых вещей: коммунизм подразумевал коллективную собственность, «первобытный коммунизм» существовал в далеком прошлом и, возможно, однажды снова наступит.

Эту историю, которую мы любим себе рассказывать, можно называть «мифическим» или даже «эпическим» коммунизмом. Со времен Французской революции ею вдохновлялись миллионы людей, но она принесла человечеству огромный вред. По-моему, такое представление давно пора отбросить. На самом деле «коммунизм» – это не какая-то волшебная утопия, и ничего общего с собственностью на средства производства он не имеет. Он существует и сейчас, существует до некоторой степени в любом человеческом обществе, хотя общества, в котором *все* было организовано таким образом, никогда не было, и даже представить себе его трудно. Все мы очень часто действуем как коммунисты. Никто из нас не действует как коммунист, постоянно «Коммунистическое общество», т. е. общество, основанное исключительно на этом принципе, не могло бы существовать. Но все общественные системы и даже экономические системы вроде капитализма всегда зиждились на реально существовавшем коммунизме.

Отталкиваясь от принципа «от каждого по способностям, каждому по потребностям»^[155], следует опустить вопрос о личной или частной собственности (которая, в любом случае, зачастую является не более чем формальной законностью), равно как и более насущные и практические вопросы о том, кто к каким вещам и при каких условиях имеет доступ. Всякий раз, когда этот принцип является оперативным, даже если взаимодействуют только два человека, мы можем сказать, что перед нами разновидность коммунизма.

Почти все следуют этому принципу, когда работают над каким-нибудь общим проектом^[156]. Если кто-то чинит лопнувшую трубу и говорит: «Поддай мне гаечный ключ», его напарник вряд ли спросит: «А что я за это получу?». даже если оба работают в «Эксон Мобил», «Бургер Кинг» или «Голдман Сакс». Причина проста – речь идет об эффективности (что звучит довольно забавно, если учесть, что, согласно устоявшейся точке зрения,

«коммунизм вообще не работает»): если вы действительно хотите что-то сделать, самым эффективным способом добиться этого будет распределить задачи в зависимости от способностей людей и дать им то, что нужно для их выполнения^[157]. Можно даже сказать, что одна из самых скандальных черт капитализма состоит в том, что внутреннее функционирование капиталистических фирм устроено по коммунистическому принципу. Они и правда не стремятся быть очень демократичными. Чаще всего их система управления по-военному иерархична. Но здесь часто возникает интересное противоречие, поскольку иерархические системы управления не очень эффективны: они способствуют отуплению тех, кто находится наверху, и мстительному крючкотворству тех, кто находится внизу. Чем больше потребность в импровизации, тем демократичнее становится сотрудничество. Изобретатели всегда это понимали, понимают это и капиталисты, создающие новые компании; этот принцип недавно заново открыли компьютерные инженеры – не только в том, что касается бесплатного программного обеспечения, которое у всех на устах, но и даже в том, что касается организации их собственного бизнеса.

По-видимому, именно поэтому сразу после разрушительных бедствий – наводнения, массового отключения электричества или экономического коллапса – люди, как правило, так себя и ведут, возвращаясь к примитивному коммунизму. Иерархия, рынки и тому подобные вещи становятся, пусть и ненадолго, роскошью, которую никто не может себе позволить. Всякий, кто оказывался в такой ситуации, может подтвердить, что в этих особенных условиях посторонние люди становятся друг другу братьями и сестрами, а человеческое общество словно рождается заново. Это важно, поскольку показывает, что мы говорим не просто о сотрудничестве. На самом деле *коммунизм – это основа любого социального общения*. Он делает возможным существование общества. Всегда можно предположить, что к любому, кто не является врагом, будут относиться исходя из принципа «от каждого по способностям», по крайней мере до определенной степени: например, если одному нужно понять, как добраться куда-то, а другой знает дорогу.

Мы считаем это настолько очевидным, что любые исключения сами по себе примечательны. Антрополог Э.Э. Эванс-Причард, изучавший в 1920-х годах нуэров, нилотский народ, проживающий в Южном Судане и занимающийся скотоводством, рассказывает о своем замешательстве, когда он понял, что кто-то намеренно указал ему неверную дорогу:

Однажды я спросил дорогу к какому-то месту и меня намеренно запутали. Злой, я вернулся в лагерь и спросил, почему они указали мне неверный путь. Один из нуэров сказал: «Ты чужой, так почему мы должны показывать тебе правильный путь? Если бы даже посторонний нуэр спросил у нас о дороге, мы бы ему сказали: „Иди прямо по этой дороге», но не сказали бы, что она разветвляется. Зачем нам ему говорить правду? Но теперь ты член нашего лагеря и добр к нашим детям, так что в будущем мы тебе будем указывать правильный путь»^[158].

Племена нуэров находятся в постоянной вражде друг с другом; любой незнакомец запросто может оказаться врагом, который выискивает удобное место для засады. Было бы недальновидно давать такому человеку полезную информацию. Более того, сам Эванс-Причард находился в специфическом положении, поскольку был агентом британского правительства, которое незадолго до того отправило королевские ВВС нанести бомбовый удар по этому поселению, а потом насильно переселило его жителей. В таких условиях их обращение с Эванс-Причардом выглядит довольно великодушным. Но главное здесь заключается в том, что должно произойти событие подобного масштаба – непосредственная угроза жизни или нанесения увечий, бомбардировка гражданского населения с целью устрашения, – для того чтобы люди отказались показывать чужаку правильную дорогу^[159].

Дело не только в дороге. Сфера общения вообще особенно предрасположена к коммунизму. Ложь, хамство, оскорбления и прочие виды вербальной агрессии важны, но их сила проистекает в основном из общепринятого убеждения в том, что обычно люди так не поступают: оскорбление ранит лишь тогда, когда человек полагает, что остальные, как правило, внимательно относятся к его чувствам; невозможно соврать тому, кто не считает, что обычно вы говорите правду. Когда мы действительно хотим разорвать дружеские отношения с каким-то человеком, мы перестаем с ним разговаривать.

Это же касается мелких жестов вежливости, таких как попросить закурить. Считается более правомерным попросить у незнакомца сигарету, чем соответствующее количество денег или даже еды; на самом деле, когда понимаешь, что перед тобой такой же курильщик, как и ты, ему довольно трудно отказать в просьбе. Дать спичку, поделиться какими-то сведениями или придержать дверь лифта – эти проявления принципа «от каждого по способностям» столь незначительны, что каждый из нас делает это, не задумываясь. С другой стороны, то же самое справедливо, если потребности другого человека, пусть даже и незнакомца, носят чрезвычайный характер: например, если он тонет. Если в метро на пути упал ребенок, мы считаем, что всякий, кто может его поднять, так и поступит.

Я буду называть это «базовым коммунизмом»: в тех случаях, когда люди не видят друг в друге врагов и потребность считается достаточно значимой или не требует чрезмерных затрат, будет применяться принцип «от каждого по способностям, каждому по потребностям». Конечно, в разных сообществах будут применяться различные стандарты. В крупных, обезличенных городских сообществах эти стандарты могут ограничиваться тем, что люди просят друг у друга прикурить или спрашивают дорогу. Не густо, конечно, но это создает возможность для более широких социальных отношений. В меньших и менее обезличенных сообществах, особенно в тех, что не разделены на общественные классы, такая логика может заходить намного дальше: здесь, например, зачастую практически невозможно отказать в просьбе дать не только табак, но и еду любому, кто считается членом сообщества, а иногда даже постороннему. Всего через страницу после описания трудностей, с которыми он столкнулся, спрашивая дорогу, Эванс-Причард отмечает, что те же самые нуэры не способны отказать в просьбе дать любой предмет широкого потребления, когда имеют дело с кем-то, кого они признали членом своего племени. Мужчина или женщина, у которых есть излишки зерна, табака, лишние инструменты или утварь, расстанутся со своими запасами почти сразу^[160]. Тем не менее эта готовность делиться и щедрость никогда не распространяются на всё. Часто вещи, которыми делятся с другими, считаются банальными и потому не имеющими особого значения. Для нуэров подлинным богатством был скот. Им никто не будет свободно делиться; более того, молодых нуэров учат, что они должны защищать его ценою своей жизни; по этой самой причине скот никогда не продается и не покупается.

Обязательство делиться едой и любым другим предметом первой необходимости обычно становится основой повседневной нравственности в обществах, члены которых считают друг друга равными. Одри Ричардс, другой антрополог, описал, как матери из народа бемба, «столь нетребовательные во всем остальном», устраивают нагоняй ребенку, если дают ему апельсин или какое-нибудь другое лакомство, а он не делится им сразу же со своими друзьями^[161]. Но если задуматься, в подобных обществах, как и в любых других, делиться – это еще и главный источник жизненных наслаждений. Поэтому потребность делиться особенно остро проявляется и в хорошие, и в дурные времена: не только во время голода, например, но и в моменты невиданного изобилия. Рассказы первых миссионеров о североамериканских туземцах почти всегда содержат исполненные благоговения замечания об их щедрости в голодные годы, зачастую по отношению к совершенно посторонним людям^[162]. В то же время,

возвращаясь с рыбной ловли, охоты или торговли, они обмениваются многими подарками; если они раздобыли что-то необычайное, даже если они это купили или им это кто-то дал, они устраивают пир для всего селения. Их гостеприимство по отношению ко всем чужакам заслуживает внимания^[163].

Чем пышнее пир, тем скорее на нем можно увидеть некое сочетание совместного пользования одними вещами (например, едой и питьем) и тщательного распределения других: скажем, лучшее мясо, добытое в игре или принесенное в жертву, часто раздается в соответствии с детально разработанными правилами или со столь же разработанным обменом подарками. Раздача и получение подарков зачастую приобретают явный игровой оттенок и нередко действительно связаны с играми, состязаниями, маскарадами и выступлениями, которые так часто устраиваются на народных празднествах. Как и в обществе в целом, совместные празднества могут рассматриваться как своего рода коммунистическая основа, на которой возводится все остальное. Это также помогает подчеркнуть, что делиться вещами – жест, который определяется не только нравственностью, но и удовольствием. Удовольствие можно получить и в одиночку, но для большинства людей приятнее всего то, чем можно поделиться с другими: музыка, еда, напитки, наркотики, сплетни, драма или постель. В основе большей части вещей, которые мы считаем развлечением, лежит определенный коммунизм.

На наличие коммунистических отношений яснее всего указывает то, что они не только не предполагают ведения учета, но и даже попытка это сделать выглядела бы оскорбительно или просто странно. Например, каждый поселок, клан или племя, входившие в ирокезскую Лигу Хауденосауни, были разделены на две половины^[164]. Это обычная модель: в других частях мира (в Амазонии, Меланезии) было установлено, что члены одной половины могли жениться только на женщине из другой или есть только ту еду, которую вырастила вторая; подобные правила были предназначены для того, чтобы обе стороны зависели друг от друга в том, что касалось удовлетворения базовых жизненных потребностей. Среди ирокезов шести племен одна сторона должна была хоронить умерших членов другой. Нет ничего абсурднее, чем предположить, что одна сторона пожаловалась бы на то, что «в прошлом году мы похоронили пять ваших мертвецов, а вы наших – только два».

Базовый коммунизм можно считать исходным материалом социальности, признанием нашей безусловной взаимозависимости, которая лежит в основе социального мира. Однако чаще всего этой минимальной основы недостаточно. В отношениях с одними людьми мы в большей степени руководствуемся принципом солидарности, чем в отношениях с другими, а некоторые отношения основаны исключительно на принципах солидарности и взаимопомощи. В первую очередь это касается людей, которых мы любим; парадигмой бескорыстной любви является любовь матери. Далее следуют близкие родственники, жены и мужья, любовники, ближайшие друзья. С ними мы делимся всем или, по крайней мере, знаем, что можем к ним обратиться в случае нужды, – именно так повсюду определяется настоящий друг. Эта дружба может быть формализована посредством такого ритуала, как признание друг друга «закадычными друзьями» или «братьями по крови», которые не могут друг другу ни в чем отказать. В результате можно считать, что любое сообщество пронизывают отношения «индивидуалистического коммунизма», личные отношения, которые различаются по степени интенсивности, но все действуют на основе принципа «от каждого по способностям, каждому по потребностям»^[165].

Ту же самую логику можно применить – и там она действительно работает – в рамках групп: не только рабочие коллективы, но и почти любая группа с общими интересами характеризуется тем, что создает свой тип базового коммунизма. Внутри группы определенные вещи находятся в общем пользовании или делаются бесплатно, другие вещи осталь-

ные члены группы предоставляют своему товарищу, но никогда – постороннему: например, рыбаки помогают друг другу чинить сети, офисные служащие делятся канцелярскими предметами, коммерсанты обмениваются некоторыми видами информации и т. д. Кроме того, есть категории людей, которым мы звоним в определенных ситуациях, таких как сбор урожая или переезд^[166]. От этого можно перейти к различным формам совместного пользования вещами, к ситуациям, когда люди объединяют усилия во имя какой-то цели и решают, к кому можно обратиться за помощью при переезде или сборе урожая или же у кого можно взять беспроцентную ссуду в трудную минуту. Наконец, есть различные виды коллективного управления общими ресурсами.

Социология повседневного коммунизма потенциально огромное поле для исследования, но из-за идеологических шор мы не могли писать о ней, потому что не были способны ее разглядеть. Дальше о ней писать я не буду, ограничусь лишь тремя положениями.

Во-первых, здесь мы на самом деле не имеем дела с взаимностью – или разве что речь идет только о взаимности в самом широком смысле^[167]. Равным с обеих сторон является знание о том, что другой человек *сделал бы* для вас то же самое, а не что он обязательно это *сделает*. Пример ирокезов ясно показывает, почему это становится возможным: такие отношения основаны на презумпции вечности. Общество будет существовать всегда, а значит, всегда будут северная и южная стороны поселка. Поэтому не нужно вести никаких записей. Со своими матерями и лучшими друзьями люди тоже обращаются так, будто они будут жить вечно, хотя и отлично знают, что это не так.

Второе положение связано со знаменитым законом гостеприимства. Есть противоречие между привычным стереотипом о так называемых первобытных обществах (народах, не знающих ни государства, ни рынков), где врагом считается любой, кто не является членом общины, и многочисленными рассказами европейских путешественников, пораженных небывалой щедростью, которую проявляли по отношению к ним «дикари». Разумеется, определенная доля истины есть и в том и в другом. Если чужак потенциально является опасным врагом, нормальный способ избежать этой опасности – сделать жест щедрости, чья широта перенесет их на почву той взаимной социальности, которая служит основой для любых мирных общественных отношений. Правда и то, что когда люди имеют дело с совершенно неведомыми им количествами, то часто имеет место процесс проверки. И Христофор Колумб на Эспаньоле, и капитан Кук в Полинезии рассказывали схожие истории об островитянах, которые убегали, нападали или предлагали им всё, но затем зачастую поднимались на корабли и брали всё, что им приходилось по вкусу, чем навлекали на себя угрозы расправы со стороны членов команды, всячески пытавшихся им объяснить, что отношения между посторонними людьми должны строиться в форме «нормального» коммерческого обмена.

Понятно, что те, кто имеет дело с потенциально враждебными чужаками, не будут склонны к компромиссам: эта напряженность сохранилась даже в этимологии английских слов "host" (хозяин), "hostile" (враждебный), "hostage" (заложник) и даже "hospitality" (гостеприимство) – все они восходят к одному и тому же латинскому корню^[168]. Я здесь хочу подчеркнуть, что все эти жесты являются утрированными проявлениями того самого «базового коммунизма», который, как я уже говорил, служит основой всей человеческой общественной жизни. Именно поэтому, например, разница между друзьями и врагами так часто проявляется в пище – причем часто в самой обычной домашней еде. Согласно всем знакомому принципу, распространенному и в Европе, и на Ближнем Востоке, те, кто разделил хлеб и соль, никогда не должны причинять вред друг другу. Действительно, делятся в первую очередь теми вещами, которыми *нельзя* делиться с врагами. Среди нуэров, которые так легко делятся едой и повседневными вещами, если один человек убивает другого, начинается кровная вражда. Каждый житель селения должен примкнуть либо к одной, либо к другой стороне; людям из одного лагеря под страхом ужасных последствий строго запрещено есть с кем-то

из другого лагеря или даже пить из чаши или миски, которой до того воспользовался кто-либо из новоявленных врагов^[169]. Это создает такое неудобство, что подталкивает стороны как-то урегулировать конфликт. Точно так же часто говорят, что людям, которые разделили пищу или какой-то особый ее вид, запрещается наносить ущерб друг другу, как бы им ни хотелось это сделать. Иногда это может принимать комические формы, как в арабской истории о грабителе, который, обшаривая дом, засунул палец в кувшин, чтобы узнать, не сахар ли в нем, но обнаружил, что кувшин был полон соли. Поняв, что он отведал соли за столом хозяина дома, он почтительно положил обратно все, что украл.

Наконец, если коммунизм считать нравственным принципом, а не просто вопросом о собственности, то становится ясно, что эта разновидность нравственности до определенной степени присутствует почти в любой сделке и даже в торговле. Если один человек находится в дружеских отношениях с другим, то он не сможет не принимать во внимание его положение. Торговцы часто снижают цены нуждающимся. Это одна из главных причин, почему владельцы магазинов в бедных районах почти никогда не принадлежат к той же этнической группе, что и их клиенты; торговец, выросший в этих краях, не смог бы зарабатывать, поскольку его обедневшие родственники и однокашники постоянно требовали бы списать им долги или хотя бы облегчить условия кредита. Верно и обратное. Одна антрополог, прожившая некоторое время в сельских районах Явы, однажды рассказала мне, что оценивала свои познания в языке тем, насколько хорошо ей удавалось торговаться на местном базаре. Ее расстраивало, что у нее никогда не получалось платить столько же, сколько местные жители. «Ну, – объяснил ей один яванский друг, – с богатых яванцев они тоже берут больше».

И снова мы вернулись к принципу, гласящему, что если потребности (например, ужасающая бедность) или способности (например, невообразимое богатство) достаточно велики, то при наличии минимальной социальности в расчеты людей неизбежно будет влетаться коммунистическая нравственность в той или иной степени^[170]. Турецкая народная сказка о средневековом суфийском мистике Ходже Насреддине показывает, насколько это осложняет сам принцип спроса и предложения:

Однажды, когда Насреддин оставили за главного в местной чайхане, в нее зашли позавтракать шах и несколько его приближенных, охотившихся неподалеку.

– У тебя есть перепелиные яйца? – спросил царь.

– Несколько штук я точно найду, – ответил Насреддин.

Шах заказал омлет из дюжины перепелиных яиц, и Насреддин побежал за ними. После того как шах и его свита поели, он взял с них сотню золотых монет.

Шах был ошарашен:

– Неужели перепелиные яйца – такая редкость в этих краях?

– Редкость здесь не перепелиные яйца, – отвечал Насреддин, – а посещения шаха.

Обмен

Таким образом, коммунизм не основан ни на обмене, ни на взаимности – если только, как я отмечал, речь не идет об обоюдных ожиданиях и ответственности. Но даже здесь, наверное, лучше использовать другое слово («обоюдность?»), для того чтобы подчеркнуть, что обмен строится на совершенно иных принципах и представляет собой нравственную логику совсем иного типа.

Обмен означает прежде всего равноценность. Это процесс, протекающий между двумя сторонами, каждая из которых дает столько, сколько получает. Именно поэтому можно говорить об обмене словами (если ведется спор), ударами и даже выстрелами^[171]. В этих примерах нет полной равноценности, пусть даже ее и можно было бы как-то измерить, но есть постоянный процесс взаимодействия, стремящийся к равноценности. На самом деле в этом есть определенный парадокс: во всех случаях каждая сторона пытается одолеть другую, но если только одной стороне в прямом смысле не проламывают голову, то самым простым решением дела будет достижение такого положения, при котором оба участника считают результат более или менее равным. Когда мы переходим к обмену материальными предметами, мы встречаем то же напряжение. Часто возникает элемент соревнования, ну или, по крайней мере, вероятность этого всегда есть. Но в то же время есть ощущение, что обе стороны ведут подсчет и что, в отличие от коммунизма, в котором всегда есть определенное представление о вечности, отношения обмена могут быть сведены на нет и каждая сторона может выйти из них в любой момент.

Этот соревновательный элемент может работать совершенно по-разному. В случае мены или торгового обмена, когда обе стороны сделки интересуется лишь стоимость обмениваемых товаров, они могут – а экономисты настаивают, что и будут, – стремиться получить максимальную материальную выгоду. С другой стороны, как уже давно выяснили антропологи, когда происходит обмен подарками, т. е. когда переходящие из рук в руки предметы представляют интерес с точки зрения того, насколько они отражаются на отношениях между участниками сделки и помогают их наладить, соревновательный элемент будет действовать совсем иначе: это будет спор о том, кто щедрее, кто может отдать больше.

Рассмотрим каждый пример по отдельности.

Отличительной стороной торгового обмена является его «безличность»: в принципе, не имеет никакого значения, кто именно нам что-то продает или что-то у нас покупает. Мы просто сравниваем стоимость двух предметов. Но здесь, как и в случае любого другого принципа, реальность редко когда полностью ему соответствует. Для совершения сделки необходимо минимальное доверие, а это – если только вы не имеете дело с торговым автоматом – требует некоторого внешнего проявления общительности. Даже в самом безличном торговом центре или супермаркете продавцы должны по крайней мере изображать личную теплоту, терпение и другие качества, внушающие доверие; на ближневосточном базаре нужно пройти через сложный процесс установления показной дружбы, вместе выпить чаю, поесть или покурить, прежде чем приступить к столь же сложной процедуре торга: интересный ритуал, который начинается с завязывания общения на основе базового коммунизма и затем перетекает в затяжной шуточный спор о цене. Все это делается исходя из допущения, что покупатель и продавец хотя бы в этот момент являются друзьями (а значит, каждый имеет право разгневаться и возмутиться, если другой выдвигает непомерные требования), хотя все это выглядит как небольшая театральная пьеса. Когда предмет перешел к новому владельцу, оба участника торга не думают, что когда-либо еще будут иметь дело друг с другом^[172].

Чаще всего такой торг – на Мадагаскаре он передается термином, буквально означающим «выбить скидку» ("miady varotra"), – может сам по себе быть источником удовольствия.

На Аналакели, большой вещевой рынок в столице Мадагаскара, я впервые пришел с моей подругой, которая собиралась купить свитер. Весь процесс занял около четырех часов. Дело было так: моя подруга замечала в какой-нибудь палатке подходящий свитер, спрашивала цену и затем начинала долгий изощренный спор с продавцом, неизменным атрибутом которого были театральные жесты возмущения и обиды и уход с показным разочарованием. Часто казалось, что девяносто процентов времени спора уходило на торг из-за ничтожной разницы в несколько ариари (пара центов), которая становилась делом принципа для каждой стороны, и неготовность торговца их уступить могла погубить всю сделку.

Во второй раз я пришел на Аналакели с другой подругой, тоже молодой женщиной. У нее был список предметов одежды, которые ее попросила купить сестра. В каждой палатке она действовала одинаково: просто заходила и спрашивала цену.

Продавец называл цену.

– Хорошо, – отвечала она, – а окончательная цена какая?

Он говорил, и она доставала деньги.

– Погоди-ка, – спросил ее я. – Разве так можно?

– Конечно, – ответила она. – Почему нет?

Я рассказал ей, как было дело с другой моей подругой.

– Ну да, – сказала она, – некоторым людям это нравится.

Обмен позволяет нам избавиться от долгов. Он дает нам возможность расквитаться, а значит, завершить отношения. С продавцами мы обычно вообще создаем лишь видимость отношений. Соседям именно по этой причине мы предпочитаем долги *не* выплачивать. Лора Боханнэн так описала свой приезд в селение народа тив, расположенное в одном из сельских районов Нигерии. Соседи немедленно начали приносить ей небольшие подарки: «два кукурузных початка, кабачок, цыпленок, пять помидоров, пригоршня арахиса»^[173]. Не имея представления о том, чего от нее ожидали, она их поблагодарила и записала в блокнот их имена и то, что они принесли. Со временем две женщины приняли ее к себе и объяснили, что такие подарки нужно возвращать. Считалось совершенно недопустимым просто принять три яйца от соседа и ничего не принести ему взамен. Возвращать нужно было не яйца, а что-то приблизительно равное по стоимости. Можно было дать денег – в этом не было ничего зазорного, при условии что это делалось через некоторое время и, самое главное, отдавалась не точная стоимость яиц, а немного больше или немного меньше. Если человек ничего взамен не давал, то его считали эксплуататором или паразитом. Если он возвращал точную стоимость, то это означало, что он не хочет больше иметь ничего общего с соседом. Она узнала, что женщины народа тив могли потратить большую часть дня на то, чтобы добраться до отдаленного дома – вернуть пригоршню охры или немного чего-то еще, «что создавало бесконечный круг подарков, в котором никто не возвращал другому точную стоимость последнего полученного им предмета», – тем самым они постоянно воссоздавали свое общество. В этом, безусловно, есть коммунистические черты: соседи, находящиеся в добрых отношениях, могли также рассчитывать на взаимопомощь в трудных ситуациях, но, в отличие от коммунистических отношений, которые по умолчанию являются неизменными, соседство такого рода должно было постоянно создаваться заново и поддерживаться, поскольку связи могли быть прерваны в любой момент.

Есть бесчисленное количество вариаций этого обмена подарками по принципу «ты мне, я тебе». Самый обычный пример – обмен угощениями: я покупаю кому-то пиво, он мне покупает следующее. Полная равноценность подразумевает равенство. Но возьмем немного более сложный пример: я веду друга на ужин в модный ресторан; через некоторое время он делает то же самое. Антропологи уже давно отметили, что само существование таких обычаев и особенно ощущение, что услугу *надо* возвращать, нельзя объяснить с помощью стандартной экономической теории, которая предполагает, что любое взаимодействие

между людьми представляет собой деловую сделку и что всеми нами движут личные интересы, побуждающие нас добиваться максимума по минимальной цене или с приложением минимальных усилий^[174]. Но это ощущение вполне реально, и оно может вызвать большое неудобство у людей, стесненных в средствах, но не желающих потерять лицо. Так почему если я свожу на ужин в дорогой ресторан экономиста, придерживающегося теории свободного рынка, то он будет испытывать некоторую неловкость и дискомфорт до тех пор, пока не вернет мне это одолжение? Почему он будет хотеть отвести меня в еще более дорогой ресторан, если он считает меня своим конкурентом?

Вспомните пиршества и празднества, о которых шла речь выше: здесь тоже есть основа для общения и шутивого (а иногда и не такого уж шутивого) соревнования. С одной стороны, это всем приносит удовольствие – в конце концов, сколько людей действительно захотят отужинать в шикарном французском ресторане в гордом одиночестве? С другой стороны, дело может легко перерасти в игру, участники которой стремятся стать первыми, испытывают манию, унижение, ярость... или, как мы скоро увидим, нечто худшее. В некоторых обществах такие игры формализованы, но важно подчеркнуть, что они могут вестись только между людьми или группами, которые считают друг друга более или менее равными по статусу^[175]. Вернемся к нашему воображаемому экономисту: он совсем необязательно будет испытывать неловкость всякий раз, когда кто-то его угощает или приглашает на ужин. Это произойдет в том случае, если он считает, что пригласивший его человек приблизительно равен ему по статусу или по званию – например, коллега. Но если на ужин его пригласит Билл Гейтс или Джордж Сорос, то он, скорее всего, решит, что действительно получил нечто, не приложив к этому никаких усилий, и в ответ ничего делать не станет. Если то же самое сделает молодой коллега, желающий его к себе расположить, или амбициозный аспирант, он, наверное, решит, что делает одолжение, принимая это приглашение, – если вообще его примет, что маловероятно.

Именно это происходит в обществах, где существуют тонкие градации статуса и достоинства. Пьер Бурдьё описал «диалектику вызова и ответа», которая доминирует во всех играх чести среди кабиллов, народа группы берберов, проживающего в Алжире. У них обмен оскорблениями, нападениями (в случае вражды или столкновений), кражами или угрозами следовал той же логике, что и обмен подарками^[176]. Преподнести подарок – это одновременно и честь, и провокация. Чтобы ответить на него, нужно обладать немалым мастерством. Выбор момента имеет первостепенное значение, равно как и сам ответный подарок, который должен быть не просто другим, но и немного более ценным. Здесь царит негласный нравственный принцип, требующий от человека выбрать такой подарок, который соответствует его положению. Человек, бросающий вызов тому, кто старше, богаче и авторитетнее, рискует получить выговор или даже подвергнуться унижению; сделать бедному, но уважаемому человеку подарок, который тот не сможет вернуть, просто жестоко и нанесет вашей репутации ущерб. На эту тему есть одна индонезийская история: богач принес в жертву великолепного вола, чтобы устыдить бедного соперника; бедняк унизил его и выиграл спор, спокойно принеся в жертву цыпленка^[177].

Игры такого рода становятся особенно сложными, когда предстоит определенная борьба за статус. Когда предмет спора *слишком* хорошо очерчен, это создает специфические проблемы. Поднесение подарков царям зачастую является особенно хитроумным и сложным делом. Проблема здесь состоит в том, что никто не может сделать подарок, достойный царя (за исключением разве что другого царя), поскольку у него по определению и так уже все есть. С другой стороны, предполагается, что человек предпримет разумное усилие:

Однажды Насреддина позвали к шаху. Сосед увидел, как он спешит по дороге, неся сумку с репой.

– Зачем тебе это? – спросил он.

– Меня позвали к шаху. Я подумал, что лучше будет принести какой-нибудь подарок.

– И ты несешь ему репу? Это же крестьянская еда! А он шах! Тебе следовало бы отнести ему что-то более соответствующее, например виноград.

Насреддин согласился и пришел к шаху с гроздью винограда. Шаха это не позабавило. «Ты даешь мне виноград? Я же шах! Это просто смешно. Выведите этого идиота и обучите его хорошим манерам. Бросьте в него все виноградинки одну за другой, а затем вышвырните его из дворца».

Шахские стражники затащили Насреддина в боковую комнату и стали кидать в него виноградом. Пока они это делали, он упал на колени и стал кричать: «Спасибо, спасибо тебе, Аллах, за твою безграничную милость!»

«Почему ты благодаришь Аллаха? – спросили они. – Ты ведь полностью унижен!» Насреддин ответил: «Я просто подумал: слава Аллаху, что я не принес репу».

С другой стороны, если дать царю что-то, чего у него еще нет, это может создать вам еще большие трудности. Одна расхожая история времен ранней Римской империи рассказывала об изобретателе, который с большой помпой преподнес в дар императору Тиберию стеклянную чашу. Император был озадачен: что такого особенного в куске стекла? Изобретатель уронил ее на пол. Она не разлетелась вдребезги, на ней лишь осталась вмятина. Он поднял ее и, просто надавив, вернул прежнюю форму.

«Ты рассказывал кому-нибудь еще, как ты это делаешь?» – встревоженно спросил Тиберий.

Изобретатель уверил его, что нет. Тогда император приказал его убить, поскольку если бы стал известен секрет изготовления стекла, которое не бьется, то его золотые и серебряные сокровища лишились бы всякой ценности^[178].

Для того, кто имел дело с царем, самым разумным было проявить разумное усилие, чтобы сыграть в эту игру, но при этом обязательно проиграть. Арабский путешественник XIV века Ибн Баттута рассказывает об обычаях внушавшего всем ужас царя Синда, который получал особое наслаждение, проявляя свою деспотическую власть^[179]. Важные гости из-за рубежа, посещавшие монарха, имели обыкновение делать ему великолепные подарки; но каким бы ни был подарок, в ответ царь всегда дарил нечто намного превосходящее его по стоимости. Это положило основу серьезному бизнесу, поскольку местные банкиры стали одалживать таким гостям деньги на покупку особенных подарков, уверенные в том, что царское тщеславие обеспечит им хороший барыш. Царь, по-видимому, об этом знал, но не возражал, так как важнее всего для него было показать, что его богатство не имеет равных; кроме того, он знал, что в случае нужды всегда сможет отобрать собственность у банкиров. Цари знали, что самой главной ставкой в игре были не деньги, а статус, в котором никто не мог их превзойти.

При обмене вещи, являющиеся предметом сделки, считаются равноценными. Конечно то же происходит и с людьми, по крайней мере в тот момент, когда на подарок отвечают подарком или деньги переходят из рук в руки; когда долги или обязательства между сторонами погашены и каждая из них может отправляться восвояси. Это, в свою очередь, подразумевает автономию. Монархам оба этих принципа не по душе, поэтому они, как правило, обмен не любят^[180]. Но в рамках этой конечной перспективы возможного списания долгов и безусловного равенства мы обнаруживаем бесчисленное количество вариаций и игр, в которые можно играть. Вы можете попросить что-то у другого человека, зная, что тем самым даете ему право попросить взамен нечто соответствующей стоимости. В некоторых ситуациях даже похвала в адрес вещи, принадлежащей другому, может быть воспри-

нята как просьба такого рода. В XVIII веке английские поселенцы в Новой Зеландии быстро смекнули, что не стоит заглядываться, например, на красивую нефритовую подвеску на шее воина маори; он немедленно вам ее отдаст и не примет отказа, а через некоторое время вернется и начнет нахваливать пальто или ружье поселенца. Единственный способ избежать этого состоял в том, чтобы быстро дать ему подарок, прежде чем он попросит какую-нибудь вещь. Иногда подарки преподносятся для того, чтобы человек, делающий их, мог что-то попросить: если вы принимаете подарок, то этим негласно соглашаетесь с тем, что даритель может попросить равноценную, по его мнению, вещь^[181].

Все это, в свою очередь, может незаметно превратиться в подобие меновой торговли, где предметами обмениваются напрямую, – а это, как мы видели, происходит даже в том, что Марсель Мосс любил называть «экономиками дара», хотя в основном между посторонними людьми^[182]. Члены общин, как прекрасно иллюстрирует пример народа тив, почти никогда не стремятся положить этому конец – это одна из причин, почему там, где деньги имеют широкое хождение, люди зачастую отказываются использовать их в отношениях с друзьями или родственниками (а в деревне почти все друг другу приходится либо теми, либо другими) или же, подобно мальгашам, описанным в третьей главе, используют их совершенно по-иному.

Иерархия

Таким образом, обмен подразумевает формальное равенство или, по крайней мере, вероятность его. Именно поэтому у царей с ним возникают такие проблемы.

В отличие от обмена явно иерархические отношения, т. е. такие, в которых участвуют минимум две стороны и одна из них превосходит другую, не имеют никакой тенденции к взаимности. Это трудно заметить, поскольку часто такие отношения оправдываются понятиями взаимности («крестьяне обеспечивают еду, сеньоры – защиту»), но принцип, на которых они основаны, ровно противоположный. На практике иерархия исходит из прецедентной логики.

Чтобы проиллюстрировать то, что я имею в виду, представим некий диапазон односторонних социальных отношений, варьирующихся от исключительно своекорыстных до максимально великодушных. На одном краю находится воровство или грабеж, на другом – бескорыстная благотворительность^[183]. Лишь в этих двух крайних точках возможно материальное взаимодействие между людьми, которые в другой ситуации не будут иметь вообще никаких социальных отношений. Только сумасшедший отправится грабить своего ближайшего соседа. Банда мародерствующих солдат или кочующие всадники, которые нападают на крестьянскую деревушку и насилуют и грабят ее жителей, тоже не будут налаживать долгосрочные отношения с теми, кто выжил. В то же время религиозные традиции часто требуют, чтобы подлинная благотворительность была анонимной; иными словами, ее получатель не должен оказаться ни перед кем в долгу. Крайней формой, распространенной в разных частях света, является поднесение подарка украдкой – своего рода кража наоборот, когда кто-то проникает ночью в дом получателя и оставляет подарок, так чтобы никто не мог узнать, кто это сделал. Фигура Санта-Клауса, или Святого Николая (который – об этом нужно помнить – был святым покровителем не только детей, но и воров), представляет собой мифологическую версию того же самого принципа: благожелательный грабитель, с которым социальные отношения невозможны и которому, соответственно, никто ничего не может быть должен, прежде всего потому, что он на самом деле не существует.

Обратите, однако, внимание на то, что произойдет, если не подходить так близко к крайним точкам этого диапазона. Мне рассказывали (подозреваю, что это неправда), что где-то в Белоруссии бандиты настолько часто грабили пассажиров поездов и автобусов, что взяли в привычку давать каждой жертве небольшой значок, подтверждавший, что его обладатель уже был ограблен. Разумеется, это шаг по направлению к созданию государства. Одна распространенная теория происхождения государства, которая восходит по меньшей мере к североафриканскому историку XIV века Ибн-Халдуну, основана на схожем предположении: кочевые грабители со временем упорядочивают свои отношения с оседлыми жителями, грабежи превращаются в дань, а изнасилования – «в право первой ночи» или в отправку подходящих девушек в царский гарем. Завоевание, грубая сила обретают форму не хищнических, а нравственных отношений, в рамках которых сеньоры обеспечивают защиту, а сельские жители – их существование. Но даже если все стороны считают, что действуют на основе общего свода нравственных норм и даже цари не могут делать что хотят, а вынуждены их соблюдать и позволять крестьянам спорить о том, насколько справедлива доля урожая, которую у них могут забирать царские слуги, то они, скорее всего, будут исходить не из оценки качества или количества полученной защиты, а из обычаев и прецедента: сколько мы платили в прошлом году? сколько должны были платить наши родители? То же верно и для другой стороны диапазона. Если благотворительные пожертвования становятся основой каких-либо социальных отношений, то эти отношения не будут исходить из принципа взаимности. Если вы даете пару монет попрошайке, то он вряд ли даст вам денег, когда снова вас уви-

дит; скорее, он будет считать, что это вы должны опять дать ему денег. Это, естественно, относится и к пожертвованиям в пользу благотворительных организаций. (Однажды я дал денег Объединению сельскохозяйственных рабочих, так оно до сих пор от меня не отстало.) Подобный односторонний жест щедрости рассматривается как прецедент того, что будет происходить далее^[184]. Приблизительно то же происходит, когда вы даете ребенку конфетку.

Именно это я имею в виду, когда говорю, что иерархия исходит из принципа, совершенно противоположного взаимности. Всякий раз, когда границы превосходства и подчинения четко проведены и признаются всеми сторонами как рамки, в которых осуществляются отношения, а сами отношения достаточно долгосрочны и не основываются исключительно на грубой силе, регулировать их будет набор устоявшихся норм или обычаев. Иногда обоснованием иерархии считается факт завоевания. Или же она может считаться настолько древней, что объяснения ей не требуется. Но это еще больше усложняет проблему поднесения подарков царям или любому вышестоящему лицу, поскольку всегда есть опасность, что оно будет воспринято как прецедент, включено в число обычаев и далее станет считаться обязательным. Ксенофонт утверждал, что на заре существования Персидской империи ее провинции состязались друг с другом, отправляя в качестве дара Великому царю свои уникальные и самые ценные товары. Это стало основой системы выплаты дани: от каждой провинции требовалось, чтобы она ежегодно подносила одни и те же «дары»^[185]. Похожую ситуацию описывает великий историк Средневековья Марк Блок:

В девятом веке, когда однажды в королевских погребках в Вере случилась нехватка вина, монахов аббатства Сен-Дени попросили поставить двести недостающих бочек. Затем от них стали требовать делать это подношение ежегодно, и понадобилось издать императорскую хартию, чтобы его отменить. В Адре, как нам говорили, некогда был медведь, принадлежавший местному сеньору. Местные жители, любившие смотреть, как он дерется с собаками, стали его кормить. Через некоторое время зверь умер, но сеньор продолжал взимать с крестьян ломти хлеба^[186].

Иными словами, любой подарок феодальному сеньору, «особенно если он повторялся три-четыре раза», по-видимому, рассматривался как прецедент и пополнял свод обычаев. В результате те, кто делал подарки вышестоящим лицам, часто просили выдать им «письмо о ненанесении ущерба», юридически закреплявшее тот факт, что этого подарка от них не будут требовать в будущем. Несмотря на то что такая степень формализации достигалась редко, любые социальные отношения, изначально считающиеся неравными, неизбежно будут исходить из схожей логики хотя бы потому, что, если считается, что они основаны на «обычае», единственный способ доказать, что человек обязан что-то делать, заключается в том, чтобы продемонстрировать, что он это делал и раньше.

Зачастую такие соглашения порождают кастовую логику: некоторые кланы обязаны шить церемониальную одежду, поставлять рыбу на царские пиры или стричь царю волосы. Их начинают считать ткачами, рыбаками или цирюльниками^[187]. Это последнее утверждение не стоит переоценивать, поскольку оно доказывает и другую истину, которую постоянно упускают из виду и которая состоит в том, что логика идентичности везде и всегда вплетена в логику иерархии. Лишь когда одни люди стоят выше других или когда место каждого в обществе определяется его положением относительно царя, первосвященника или отцов-основателей, можно говорить о том, что положение людей обусловлено их сущностью, т. е. о том, что есть принципиально различные виды людей. Кастовые или расовые идеологии лишь крайние примеры этого. Это происходит всякий раз, когда начинают считать, что одна группа ставит себя выше или ниже остальных, из-за чего обычные принципы честного ведения дел к ней неприменимы.

На самом деле нечто подобное случается в меньшем масштабе даже в самых близких социальных отношениях. Как только мы признаем, что кто-то является человеком другого рода, стоящим выше или ниже нас, обычные правила взаимности меняются или вовсе перестают действовать. Если однажды друг проявляет к нам необычную щедрость, мы, скорее всего, попытаемся ответить ему тем же. Если же он поступит так несколько раз, мы сделаем вывод, что он щедрый человек, и будем менее склонны проявлять взаимность^[188].

Здесь можно вывести простую формулу: некое повторяющееся действие становится обычаем и, как следствие, начинает определять сущность выполняющего его человека. С другой стороны, эта сущность может быть обусловлена и тем, как другие люди вели себя по отношению к этому человеку в прошлом. Быть аристократом прежде всего означает, что в прошлом другие люди *относились* к вам как к аристократу (поскольку аристократы на самом деле ничем особенным не заняты: большинство из них в основном только и делают, что осознают свое превосходство над другими) и потому должны вести себя так и впредь. Искусство быть таким человеком по большей части заключается в том, чтобы относиться к себе так, как, по вашему мнению, к вам должны относиться другие: цари, например, покрывают себя золотом, давая понять остальным, что те тоже должны так делать. На другом конце шкалы это объясняет, как злоупотребление само себя узаконивает. Как отмечала моя бывшая студентка Сара Стилман, если в США похищают, насилуют и убивают тринадцатилетнюю девочку из среднего класса, то это считается национальной трагедией, за развитием которой каждый должен следить по телевидению на протяжении нескольких недель. Если же выясняется, что тринадцатилетняя девочка – несовершеннолетняя проститутка, которую регулярно насиловали на протяжении нескольких лет и в конце концов убили, то этому событию не придают значения, поскольку думают, что рано или поздно оно должно было случиться^[189].

Когда предметы материального благосостояния циркулируют между высшими и низшими классами в виде подарков или платежей, ключевой принцип здесь, видимо, заключается в том, что вещи, которые дарятся, считаются совершенно отличными друг от друга по качеству, их относительную стоимость невозможно установить, – тогда о сведении счетов нельзя будет даже помыслить. Хотя средневековые писатели и изображали общество как иерархическую структуру, в которой священники за всех молятся, знать за всех сражается, а крестьяне всех кормят, никому из них в голову не приходило определять, сколько молитв или военной защиты соответствовало одной тонне зерна. Никто и не пытался провести такой подсчет. И люди «низшего» сорта совсем необязательно получали вещи низшего сорта, а верхам доставалось только лучшее. Иногда все было ровно наоборот. До недавних пор почти каждый известный философ, художник, поэт или музыкант должен был найти себе состоятельного покровителя. Сегодня это кажется странным, но знаменитым поэтическим или философским произведениям зачастую предшествует напыщенное и льстивое восхваление мудрости и добродетельности какого-нибудь давно забытого графа или князя, который обеспечил автору скудное жалование. Тот факт, что знатный покровитель просто предоставил проживание и питание или деньги, а клиент выразил свою благодарность, нарисовав «Мону Лизу» или сочинив «Токкату и фугу ре-минор», ни в коей мере не ставил под сомнение очевидное превосходство вельможи.

Из этого принципа есть одно значимое исключение, а именно феномен иерархического перераспределения. Однако в этом случае циркулируют не вещи одного вида, а ровно *та же* самая вещь: например, когда фанаты некоторых нигерийских поп-звезд во время концертов бросают на сцену деньги, поп-звезды затем проезжают по кварталам, где живут их фанаты, и разбрасывают (те же самые) деньги из окон своих лимузинов. В большей части Папуа – Новой Гвинеи социальная жизнь концентрируется вокруг «бигменов», харизматических личностей, которые большую часть времени тратят на уговоры, умасливания и манипуляции, для того чтобы приобрести богатства, которые они затем раздадут на каком-нибудь боль-

шом пиршестве. Отсюда можно перейти к примеру индейских вождей Амазонии или Северной Америки. В отличие от бигменов их роль более формализована; но у этих вождей нет права требовать от других людей то, чего те отдавать не хотят (этим объясняется знаменитое красноречие и умение убеждать, свойственное вождям североамериканских индейцев). В результате они, как правило, отдавали намного больше, чем получали. Наблюдатели часто отмечали, что с имущественной точки зрения вождь зачастую был самым бедным человеком в селении, из-за того что от него постоянно требовалось проявлять щедрость.

На самом деле оценить, насколько эгалитарным было то или иное общество, можно по тому, являлись ли обладатели внешних атрибутов власти простыми инструментами перераспределения или же они могли использовать свое положение для накопления богатства. Последнее более вероятно в аристократических обществах, в которых появляется еще один элемент – война и грабеж. В конце концов, каждый, кто получает в наследство большое богатство, непременно отдаст множеству людей хотя бы часть его – зачастую в ходе великолепной церемонии. Чем большая часть богатства получена путем грабежа и вымогательства, тем более вычурными будут формы его раздачи^[190]. То, что справедливо для военных аристократий, тем более справедливо для древних государств, правители которых почти всегда выставляли себя защитниками беспомощных, кормильцами вдов и сирот и покровителями бедняков. Истоки современного перераспределяющего государства с его явным стремлением способствовать выработке определенной идентичности можно усматривать не в каком-то «первобытном коммунизме», а в насилии и войне.

Перемещение между модальностями

Хочу еще раз подчеркнуть, что здесь мы ведем речь не о разных типах общества (как мы видели, сама идея, что мы организованы в обособленные «общества», сомнительна), а о нравственных принципах, которые везде и всегда сосуществуют. Все мы коммунисты в отношениях с нашими близкими друзьями и феодальные сеньоры, когда общаемся с маленькими детьми. Очень трудно представить общество, где люди не будут тем и другим.

Очевидный вопрос заключается в следующем: если все мы обычно движемся туда-обратно между совершенно разными системами нравственного учета, почему никто этого не заметил? Почему мы постоянно чувствуем необходимость переосмысливать все в категориях взаимности?

Здесь мы возвращаемся к тому факту, что взаимность – главная форма нашего представления о справедливости. Именно к ней мы обращаемся, когда думаем абстрактно и особенно когда пытаемся создать идеализированный образ общества. Я уже приводил примеры такого рода. Ирокезские общины были основаны на идеале, который требовал, чтобы каждый был чуток к потребностям людей разного рода: друзей, семей, членов своих матрилинейных кланов и даже дружественно настроенных чужаков, оказавшихся в трудной ситуации. Именно когда им пришлось думать об обществе в абстрактных категориях, они начали выделять две стороны селения, каждая из которых должна хоронить мертвецов другой. Это была форма выражения коммунизма через взаимность. Феодализм был очень запутанной и сложной системой, но всякий раз, когда средневековые мыслители размышляли о нем, они сводили все его слои и классы к простой формуле, в которой каждый класс вносил свою лепту: «Одни молятся, другие сражаются, третьи работают»^[191]. Даже иерархия рассматривалась прежде всего в терминах взаимности, хотя эта формула не имела ничего общего с подлинными отношениями между реально существовавшими священниками, рыцарями и крестьянами. Антропологам такой феномен знаком: лишь когда людей, которым прежде не доводилось думать о своем обществе или культуре как о некоем целом и которые, возможно, даже не замечали, что живут в чем-то, что другие люди считают «обществом» или «культурой», просят объяснить, как все устроено, они говорят что-то вроде «так мы расплачиваемся с нашими матерями за те лишения, которые они претерпели, воспитывая нас» или ломают голову над концептуальными диаграммами, в которых клан А отдает своих женщин замуж в клан Б, отдающий своих клану В, отдающему своих клану А, но которые никогда точно не соответствуют тому, что люди на самом деле делают^[192]. Когда мы пытаемся представить справедливое общество, в нашем воображении обязательно всплывают образы баланса и симметрии, элегантные геометрические формы, в которых все друг друга уравнивает.

Мысль о том, что есть нечто под названием «рынок», не сильно от этого отличается. Экономисты часто это признают, если правильно задать им вопрос. Рынки не существуют в реальности. Это математические модели, которые создаются, когда мы представляем себе замкнутый мир, в котором все обладают одной и той же мотивацией и одними и теми же знаниями и вовлечены в один и тот же обмен, основанный на учете личных интересов. Экономисты знают, что реальность всегда устроена сложнее, и знают, что для разработки математической модели миру нужно придать определенную схематическую форму. Ошибки тут никакой нет. Проблема возникает тогда, когда это позволяет некоторым людям (зачастую все тем же экономистам) заявлять, что всякий, кто не учитывает веления рынка, обязательно будет наказан или что раз мы живем в рыночной системе, то все в ней (за исключением вмешательства правительства) основано на принципах справедливости, а наша экономическая система представляет собой единую широкую сеть взаимных отношений, в которой в итоге счета уравниваются друг друга, а долги выплачиваются.

Эти принципы переплетаются друг с другом, из-за чего часто трудно определить, какой из них преобладает в данной конкретной ситуации, – это еще одна причина, по которой смешно претендовать на то, что человеческое поведение в экономической или любой другой сфере можно свести к какой-то математической формуле. Тем не менее это означает, что наличие определенной взаимности можно обнаружить в любой ситуации, благодаря чему убежденный в своей правоте наблюдатель всегда может найти повод для того, чтобы сказать, что взаимность в ней присутствует. Более того, некоторым принципам присуще свойство перетекать в другие. Например, многие иерархические отношения могут действовать (по крайней мере, какое-то время) на основе коммунистических принципов. Если у вас есть богатый покровитель, то, оказавшись в стесненном положении, вы приходите к нему в надежде, что он вам поможет. Но до определенной степени. Никто не ждет, что помощь покровителя окажется настолько щедрой, что поставит под вопрос существующее между вами неравенство^[193].

Подобным же образом коммунистические отношения легко могут начать перерастать в отношения иерархического неравенства, причем люди часто этого даже не замечают. Нетрудно понять, почему это происходит. Иногда различные «способности» и «потребности» людей сильно друг другу не соответствуют. Поистине эгалитарные общества остро это осознают и пытаются разработать защитные меры против опасностей, исходящих от человека (допустим, от хорошего охотника в охотничьем обществе), который слишком возвысился; подозрительно они относятся и ко всему, что может заставить одного члена общества чувствовать себя в настоящем долгу перед другим. Тот, кто хвалится своими достижениями, становится объектом насмешек. Зачастую единственное допустимое поведение для человека, добившегося чего-либо, – это посмеяться над самым собой. Датский писатель Петер Фрейхен в своей «Книге эскимосов» рассказывал, что в Гренландии оценить, насколько деликатно хозяин предлагает угощение своим гостям, можно по тому, как он сначала умалил свои заслуги:

Старик засмеялся. «Некоторые люди многого не знают. Я лишь бедный охотник, а моя жена – ужасный повар, который все портит. У меня мало что есть, но, по-моему, снаружи есть кусок мяса. Наверное, остался после того, как собаки несколько раз отказались его есть».

От такой эскимосской рекомендации, представлявшей собой похвальбу наоборот, у всех потекли слюнки...

Читатель помнит охотника за моржами из предыдущей главы, который обиделся, когда автор попытался его поблагодарить за то, что тот поделился мясом, – в конце концов, люди помогают друг другу и если мы относимся к чему-то как к подарку, то теряем свою человеческую сущность: «Мы здесь говорим, что подарками человек обретает рабов, а плетью – собак»^[194].

«Подарок» здесь *не* означает нечто, что дарится свободно, или взаимопомощь, которую мы обычно ожидаем от людей. Благодарить кого-то означает, что он или она могли этого *не* делать и что, соответственно, решение поступить таким образом создает обязательство, ощущение долга и, следовательно, подчинения. Коммуны и эгалитарные сообщества в Соединенных Штатах часто сталкиваются с подобными дилеммами и вынуждены вырабатывать собственные защитные механизмы против ползучего наступления иерархии. Перетекание коммунизма в иерархию не является неизбежным – такие общества, как эскимосское, тысячелетиями его не допускали, – но его всегда стоит остерегаться.

В то же время очень трудно – а зачастую просто невозможно – преобразовать отношения, основанные на принципах коммунистического совместного пользования, в отношения равного обмена. Это можно увидеть, когда мы общаемся с друзьями: если кажется, что

кто-то пользуется вашей щедростью, то часто намного проще разорвать эти отношения, чем потребовать, чтобы этот человек с вами расплатился. Крайним примером этого служит история маори об известном обжоре, который досаждал рыбакам, промышлявшим у берега близ его дома, постоянными просьбами отдать ему лучшую часть улова. Поскольку отказать в прямой просьбе было практически невозможно, они покорно это терпели, пока однажды не решили, что с них хватит, и не убили его^[195].

Мы уже видели, что для создания почвы для общения между чужаками зачастую требуется сложный процесс проверки, насколько другая сторона готова делиться своей собственностью. То же самое может происходить, когда заключается мир или даже начинается деловое партнерство^[196]. На Мадагаскаре мне рассказывали, что два человека, которые хотят вести бизнес вместе, часто становятся братьями по крови. Кровное братство, или фатидра, заключается в обещании безграничной взаимопомощи. Оба партнера торжественно клянутся, что никогда не откажут друг другу в просьбе. На деле партнеры, заключающие такое соглашение, обычно тщательно продумывают, что они будут друг у друга просить. Мои друзья утверждали, что, когда люди впервые заключают такое соглашение, они иногда устраивают проверку. Один может попросить дом другого, рубашку с его плеча или (это любимый пример у всех) право провести ночь с его женой. Единственное ограничение – понимание того, что все, что ни попросит один, у него может попросить второй^[197]. Здесь мы тоже говорим об изначальном установлении доверия. Когда искренность взаимных обязательств подтверждена и почва, так сказать, подготовлена, то эти два человека могут начать покупать и продавать товары с общего склада, предоставлять друг другу денежные средства, делить прибыль и верить, что каждый отныне будет заботиться о коммерческих интересах другого. Самый драматичный момент наступает, когда отношения обмена грозят перерасти в иерархию, т. е. когда оба действуют как равные стороны, обмениваются подарками, руганью, товарами или чем-то еще, но один из них вдруг делает что-то из ряда вон выходящее.

Я уже упоминал свойственную обмену подарками тенденцию превращаться в игру, где каждый пытается стать первым, и говорил, что в некоторых обществах она обретает форму масштабного соревнования. Это типично прежде всего для обществ, часто называемых «героическими», т. е. таких, в которых правительства либо слабы, либо вовсе не существуют и общество строится вокруг знатных воинов, каждый из которых окружен верной дружиной и связан с другими постоянно меняющимися союзами и соперничеством. Большинство эпических поэм, от Илиады до Махабхараты и Беовульфа, обращаются к такой модели, а антропологи обнаружили подобную структуру у маори в Новой Зеландии и у племен квакиутлей, тлингитов и хайда на северо-западном побережье Америки. В героических обществах закатывание пиров и вытекающее из него состязание в щедрости часто считаются простым продолжением войны – «борьба при помощи собственности» или «борьба при помощи еды». Те, кто закатывает такие пиры, часто красочно описывают, как их враги сокрушены и подавлены проявлениями ослепительной щедрости, направленными против них (вожди квакиутлей любили называть себя большими горами, с которых дары катятся как огромные валуны), и как покоренные соперники обращены в рабство – почти как в эскимосской метафоре.

Такие утверждения не следует воспринимать буквально: другой чертой подобных обществ является высокоразвитое искусство бахвальства^[198]. Героические вожди и воины столь же упорно нахваливали себя, как члены эгалитарных обществ себя принижали. Конечно, проигравшего в обмене подарками на самом деле в рабство никто не обращал, но он вполне мог чувствовать, будто это произошло. И последствия могли быть катастрофическими. В одном древнегреческом источнике описываются кельтские празднества, во время которых знатные воины попеременно то выходили на ристалище, то соревновались в щедрости, одаривая своих врагов роскошными драгоценностями из золота и серебра. Это могло

приводить к полному поражению врага, если сделанный ему подарок был столь великолепен, что он не мог ничем ответить. В таком случае единственным достойным выходом из ситуации для него было перерезать себе глотку, что давало возможность раздать сторонникам его богатства^[199]. Шесть столетий спустя в одной исландской саге рассказывалось о стареющем викинге по имени Эгил, сдружившемся с молодым человеком, которого звали Эйнар и который продолжал активно участвовать в набегах. Они любили сидеть вместе и сочинять стихи. Однажды Эйнар раздобыл великолепный щит, на котором «были рисунки из древних сказаний, а между рисунками – золотые блестки и драгоценные камни». Никто никогда не видел ничего подобного. Отправляясь к Эгилу, он взял с собой щит. Эгила не было дома, и Эйнар прождал его три дня, как того требовал обычай, а затем повесил щит в качестве дара в медовом зале и ушел.

Эгиль вернулся домой. Когда он подошел к своему месту, то увидел щит и спросил, кому принадлежит это сокровище. Ему сказали, что приезжал Эйнар Звон Весов и подарил ему этот щит. Тогда Эгиль сказал:

– Ничтожнейший из людей! Он думает, что я просижу над щитом всю ночь и буду сочинять в честь него песнь! Дайте мне коня! Я догоню и убью его!

Эгилю сказали, что Эйнар уехал рано утром.

– Он должен быть уже на западе, в долинах Брейдафьорда.

Тогда Эгиль сложил все же хвалебную песнь^[200].

* * *

Соревнование в обмене подарками никого в раба буквально не превращает; это просто дело чести. Однако речь идет о людях, для которых честь – это все. Главная причина, по которой неспособность уплатить долг, особенно долг чести, была таким тяжелым ударом, заключалась в том, что *именно так* знать собирала свою свиту. Например, в Древнем мире закон гостеприимства требовал, чтобы каждому путешественнику давали кров и пищу и обращались с ним как с дорогим гостем, – но лишь на протяжении некоторого времени. Если гость не уезжал, он рано или поздно становился зависимым лицом. Историки не уделили должного внимания роли таких приживальщиков. В разные времена, от императорского Рима до средневекового Китая, самым важным видом отношений, по меньшей мере в больших и мелких городах, были отношения патронажа. Любого богатого и влиятельного человека окружали подхалимы, прихлебатели, постоянно ужинавшие у него гости и другие зависимые люди. Пьесы и поэмы тех времен изобилуют описаниями таких типажей^[201]. На протяжении большей части человеческой истории быть уважаемым представителем средних слоев означало каждое утро обходить дома важных местных покровителей, отдавая им дань уважения. Системы неформального патронажа складываются и сегодня всякий раз, когда относительно богатые и могущественные люди желают создать вокруг себя сеть сторонников: такая практика широко распространена во многих областях Средиземноморья, Ближнего Востока и Латинской Америки. Подобные отношения, по-видимому, представляют собой причудливое переплетение трех принципов, которые я обрисовал в этой главе; тем не менее те, кто их наблюдает, пытаются выразить их языком обмена и долга.

Последний пример: в сборнике под названием «Дар и добыча», опубликованном в 1971 году, есть короткое эссе антрополога Лоррен Блэксте о сельском департаменте во Французских Пиренеях, где живут в основном фермеры. Каждый подчеркивает важность взаимопомощи – местное выражение, ее обозначающее, переводится как «оказать услугу» ("rendre service"). Люди, живущие в одной общине, заботятся друг о друге и приходят на помощь

соседу, оказавшемуся в беде. В этом заключается сущность общинной нравственности; на этом зиждется само существование общины. Пока все очевидно. Однако, отмечает антрополог, когда кто-то оказывает очень большую услугу, взаимопомощь может превратиться в нечто другое:

Если человек пришел на фабрику к боссу, попросил работу и босс ему ее дал. Это может быть примером оказания услуги. Человек, получивший работу, никогда не сможет расплатиться с боссом, но может проявлять к нему уважение и делать символические подарки в виде продуктов, которые выращивает у себя на огороде. Если подарок требует ответного подарка, который человек сделать не может, то оплатой будет поддержка и уважение^[202].

Так взаимопомощь перетекает в неравенство. Так возникают отношения между патронном и клиентом. Мы уже это наблюдали. Я выбрал именно этот фрагмент, потому что формулировки автора очень странные: они полностью противоречат друг другу. Босс оказывает человеку услугу. Человек не может оплатить тем же. Поэтому он возвращает услугу, приходя к дому босса с корзиной помидоров и выказывая ему уважение. Так может он вернуть услугу или нет?

Охотник за моржами из книги Петера Фрейхена, без сомнения, решил бы, что точно знает, о чем тут идет речь. Принести корзину с помидорами просто означало сказать «спасибо». Это был способ признать, что у человека есть долг благодарности, что подарки превращают в рабов, равно как плеть превращает в собак. Босс и рабочий теперь люди принципиально разного рода. Проблема в том, что в прочих отношениях они не являются людьми принципиально разного рода. Скорее всего, оба они французы среднего возраста, отцы семейств, граждане Республики со схожими вкусами в музыке, спорте и еде. Они *должны* быть равны. В результате даже помидоры, представляющие собой символ признания долга, который никогда нельзя будет выплатить, должны изображаться так, как если бы они были формой возвращения долга – выплатой процентов по ссуде, которую можно – и все согласны притворяться, что это так, – однажды выплатить, что вернет обеим сторонам их равный статус относительно друг друга^[203].

(Неслучайно услуга заключается в том, чтобы найти клиенту работу на фабрике, потому что то, что происходит в данном случае, вообще несильно отличается от того, что происходит, когда вы устраиваетесь на работу на фабрике. Внешне трудовой договор является свободным договором между равными людьми, но это такое соглашение, в котором обе стороны условливаются, что, как только один из них минует проходную, они перестают быть равными^[204]. Закон признает, что в этом есть некоторая проблема; именно поэтому он подчеркивает, что вы не можете продать свое равенство навсегда. Такие договоренности приемлемы, только если власть босса не абсолютна, а ограничена рабочим временем и если у вас есть законное право в любой момент разорвать договор и восстановить свое полное равенство.)

Мне кажется, что договоренность между равными людьми о том, что они больше не будут равны друг другу (по крайней мере, на время), имеет ключевое значение. Это самая суть того, что мы называем «долгом».

* * *

Так что такое долг?

Долг – вещь очень специфическая, и возникает он в очень специфических ситуациях. Для этого прежде всего нужны отношения между двумя людьми, которые не считают себя

людьми принципиально разного рода и которые, по крайней мере потенциально, равны друг другу и действительно равны в по-настоящему важных вещах; сейчас они не находятся в равном положении, но могут так или иначе это исправить.

В случае поднесения подарков, как мы видели, требуется определенное равенство в статусе. Именно поэтому наш профессор экономики не чувствовал никаких обязательств – никакого долга чести, – принимая приглашение на ужин от человека, обладающего намного более высоким или намного более низким статусом. В случае с денежными ссудами требуется, лишь чтобы обе стороны имели равное юридическое положение. (Вы не можете одалживать деньги ребенку или сумасшедшему. То есть можете, конечно, но суды не будут вам помогать их вернуть.) Юридические долги по сравнению с нравственными имеют и другие уникальные свойства. Например, их могут простить, что не всегда возможно в случае с нравственным долгом.

Это означает, что на самом деле не бывает долгов, которые нельзя выплатить. Если бы не было никакой возможности исправить ситуацию, мы бы не называли это «долгом». Даже французский крестьянин мог спасти жизнь своему патрону или выиграть в лотерею и купить фабрику. Даже когда мы говорим о преступнике, который «возвращает свой долг обществу», мы считаем, будто он совершил нечто столь ужасное, что за это был лишен своего равного статуса, гарантированного законом и являющегося естественным правом каждого жителя данной страны; как бы то ни было, мы называем это «долгом», потому что он *может* быть выплачен, а равенство *может* быть восстановлено, пусть даже ценой смерти от смертельной инъекции.

Пока долг остается невыплаченным, действует иерархическая логика. Взаимности тут нет места. Как известно всякому, кто бывал в тюрьме, заключенным тюремщики в первую очередь говорят, что все происходящее в тюрьме не имеет ничего общего с правосудием. Схожим образом должник и кредитор общаются друг с другом, как крестьянин с феодальным сеньором. Здесь царит прецедентная логика. Если вы приносите кредитору помидоры со своей грядки, вам и в голову не придет, что он может вам дать что-то взамен. Напротив, он, скорее всего, будет ждать, что вы сделаете это снова. Но такая ситуация всегда воспринимается как неестественная, потому что на самом деле долги должны выплачиваться.

Именно это делает долги, которые нельзя выплатить, столь тяжелыми и болезненными. В конце концов, кредитор и должник равны друг другу, а значит, если должник не может сделать то, что необходимо для восстановления равенства, с ним, разумеется, что-то не так; он сам в этом виноват.

Эта связь становится очевидной, если мы обратимся к этимологии слова «долг» в европейских языках. Во многих из них оно является синонимом ошибки, греха или вины: подобно тому как преступник имеет долг перед обществом, должник – это всегда своего рода преступник^[205]. По Плутарху, на древнем Крите существовал обычай, согласно которому бравшие ссуду должны были сделать вид, что выхватывают деньги из кошляка заемщика. Почему, спрашивает он? Возможно, «потому, что так, если они не выполняли свои обязательства, их могли обвинить в совершении насильственного действия и наказать по всей строгости»^[206]. Поэтому так часто в истории должников могли сажать в тюрьму или даже – как во времена ранней республики в Риме – казнить.

Таким образом, долг – это просто обмен, который не был доведен до конца.

Из этого следует, что долг в строгом смысле слова – это порождение взаимности и имеет мало общего с другими формами нравственности (коммунизмом с его потребностями и способностями; иерархией с ее обычаями и личными качествами). Конечно, при желании можно было бы заявить (как некоторые и делают), что коммунизм – это состояние постоянной взаимной задолженности или что иерархия строится на долгах, которые нельзя выплатить. Но разве это не все та же старая песня, авторы которой исходят из предположения,

что любое взаимодействие между людьми по определению должно быть обменом в той или иной форме, и дальше выделяют разные интеллектуальные кульбиты, чтобы это доказать?

Нет. Формами обмена являются не все виды взаимодействия между людьми, а лишь некоторые. Обмен способствует складыванию особого понимания человеческих отношений. Так происходит потому, что обмен предполагает не только равенство, но еще и размежевание. Когда деньги переходят из рук в руки и списываются долги, равенство восстанавливается и обе стороны могут отправляться восвояси, поскольку им больше нет дела друг до друга.

Долг – это то, что происходит на том промежуточном этапе, когда обе стороны еще не могут отправиться каждая восвояси, потому что они все еще не равны. Но это протекает в рамках потенциального равенства. Однако достижение этого равенства разрушает саму причину отношений, ведь на промежуточном этапе происходит все самое интересное, даже если это означает, что все подобные отношения несут в себе небольшую толику преступности, вины или стыда^[207].

Для женщин народа тив, о которых я говорил в этой главе, промежуточный этап не составлял проблемы. Делая так, что каждый всегда был в небольшом долгу перед кем-то другим, они создавали человеческое общество, пусть даже и очень хрупкое: это была тонкая сеть, сотканная из обязательств вернуть три яйца или сумку охры и позволявшая возобновлять и заново создавать между людьми связи, которые могли быть прерваны в любой момент.

Наши собственные формы вежливости несильно от этого отличаются. Возьмем для примера распространенный в американском обществе обычай постоянно говорить «пожалуйста» и «спасибо». Часто это считается основой нравственности: мы журием детей всякий раз, когда они забывают это сказать, точно так же как стоящие на страже нравственности нашего общества учителя и министры корят за это всех остальных. Мы часто считаем, что это универсальный обычай, но пример эскимосского охотника показывает, что это не так^[208]. Как и многие другие формы повседневной вежливости, они стали результатом своего рода демократизации того, что прежде было выражением феодального почтения: настоятельное требование, чтобы абсолютно ко всем обращались так, как раньше обращались только к сеньору или другому лицу, стоявшему выше по иерархической лестнице.

Возможно, это распространяется не на все случаи. Представьте, что вы едете в переполненном автобусе и хотите сесть. Вежливый пассажир убирает с сиденья свою сумку; в ответ мы улыбаемся, киваем или как-то еще выражаем свою признательность. Или и правда говорим «спасибо». Такой жест всего лишь признание того, что женщина, занявшая лишнее место, – не просто физическое препятствие, а человек; мы испытываем к ней искреннюю благодарность, хотя вряд ли ее когда-либо увидим. Это не относится и к ситуации, когда кто-то с другого конца стола просит «передайте мне, пожалуйста, соль» или когда почтальон благодарит вас за то, что вы подписали квитанцию. Мы считаем это не имеющими значения формальностями и в то же время нравственной первоосновой общества. Их кажущуюся неважность можно оценить тем фактом, что почти никто, в принципе, не отказывается говорить «пожалуйста» или «спасибо» в любой ситуации, даже те, кто не может сказать «прошу прощения» или «извините».

На самом деле английское слово «пожалуйста» ("please") – это сокращение от «если вы изволите» ("if you please"), «если вам будет угодно это сделать» ("if it pleases you to do this"); то же выражение имеется в большинстве европейских языков ("s'il vous plaît" по-французски, "por favor" по-испански). Дословно оно означает «вы не обязаны это делать». «Передайте мне соль. Я не говорю, что вы должны это делать!» Это неправда; такое социальное обязательство почти невозможно не выполнить. Но этикет во многом состоит из обмена надуманной вежливостью (или враньем, если выражаться менее вежливым языком). Когда вы про-

сите кого-то передать соль, вы даете ему приказ; добавляя слово «пожалуйста», вы говорите, что это не так. Но на самом деле это приказ.

В английском языке слово «спасибо» ("thank you") происходит от глагола «думать» ("think"). Изначально оно означало «я буду помнить о том, что ты для меня сделал», что, как правило, было неправдой; но в других языках (португальское "obrigado" – хороший тому пример) стандартный термин соответствует выражению «премного обязан», т. е. означает «я перед тобой в долгу». Французское "merci" еще более показательнее: оно происходит от слова «милосердие», мольбы о милосердии; произнося его, вы символически отдаете себя во власть своего благодетеля, поскольку в конечном счете должник – это преступник^[209]. Говоря «не стоит благодарности» ("you're welcome") или «не за что» ("it's nothing") (французское "de rien", испанское "de nada") – последнее выражение, по крайней мере, обладает тем преимуществом, что зачастую это правда, – вы уверяете человека, которому передали соль, что не записываете это действие в колонку долгов в вашей воображаемой счетной книге нравственности. То же относится к выражению «с удовольствием» ("my pleasure") – произнося его, вы говорите: «Да нет, это кредит, а не долг, вы *мне* сделали одолжение, поскольку, попросив передать соль, дали мне возможность сделать жест, сам по себе доставляющий мне удовольствие!»^[210]

Расшифровка негласного подсчета долгов («Я вам должен», «Нет, вы мне ничего не должны», «Если кто-то кому-то и должен, так это я вам» – словно в бесконечной бухгалтерской книге делаются бесконечно мелкие записи, а затем вычеркиваются) помогает понять, почему такого рода вещи рассматриваются не как квинтэссенция нравственности, а как квинтэссенция нравственности *среднего класса*. Сегодня в обществе действительно доминирует эмоциональность среднего класса. Но все еще есть люди, которые находят ее странной. Верхушка общества часто полагает, что учтивость должна проявляться прежде всего к лицам, стоящим выше по иерархической лестнице, и считает идиотизмом, когда почтальон и кондитер пытаются общаться друг с другом, словно два мелких феодальных сеньора. На другом конце шкалы находятся те, кто вырос в среде, которую в Европе называют «народной», – в мелких городах, бедных районах и тому подобных местах, где все еще считается, что люди, не враждующие друг с другом, должны друг о друге заботиться. Они сочтут за оскорбление, если им постоянно будут говорить, что есть вероятность, будто они могут *не* выполнять свою работу официанта или таксиста должным образом или *не* угостить гостей чаем. Иными словами, этикет среднего класса подчеркивает, что все мы равны, но делает это по-особому. С одной стороны, он требует, чтобы никто никому не давал приказов (ср. громила-охранник в торговом центре, который обращается к человеку, зашедшему в запрещенную зону, со словами: «Чем я могу вам помочь?»); а с другой – расценивает как форму обмена любой жест, в котором проявляется то, что я назвал «базовым коммунизмом». В результате общество среднего класса, как и общины народа тив, должно постоянно создаваться заново в бесконечной игре мерцающих теней, где пересекается бесчисленное множество мгновенных отношений долга, которые почти сразу же исчерпываются.

Все это относительно недавнее изобретение. Обычай всегда говорить «пожалуйста» и «спасибо» возник во время торговой революции XVI–XVII веков в среде того самого среднего класса, который ее в основном и вершил. Этот язык контор, лавок и канцелярий за последние пять столетий распространился по всему миру. Это еще и одно из проявлений более широкой философии, набора допущений относительно того, чем являются люди и что они друг другу должны, которые так глубоко проникли в наше создание, что мы их даже не замечаем.

* * *

Иногда на заре новой исторической эры находятся прозорливые наблюдатели, которые предугадывают последствия того, что только начинает происходить, – порой им это удается лучше, чем последующим поколениям. Позвольте мне закончить главу отрывком из текста, написанного таким человеком. В 1540-х годах в Париже Франсуа Рабле – бывший монах, врач, правовед – сочинил ставшую знаменитой насмешливую хвалебную речь, которая вошла в третью книгу его великого романа «Гаргантюа и Пантагрюэль» и получила название «Похвала долгу».

Рабле вкладывает этот панегирик в уста Панурга, странствующего ученого, человека классической эрудиции, который, как он отмечает, «знал шестьдесят три способа добывания денег, из которых самым честным и самым обычным являлась незаметная кража»^[211]. Добродушный великан Пантагрюэль принимает у себя Панурга и даже обеспечивает его солидным доходом, но ему досаждают, что Панург продолжает бросать деньги на ветер и оказывается по уши в долгах. Не лучше ли было бы, спрашивает Пантагрюэль, расплатиться со своими кредиторами?

Панург с ужасом отвечает: «Чтобы я стал освобождаться от долгов? Сохрани меня бог!» Долг – это первооснова его философии:

Будьте всегда кому-нибудь должны. Ваш заимодавец денно и нощно будет молиться о том, чтобы Господь ниспослал вам мирную, долговую и счастливую жизнь. Из боязни, что он не получит с вас долга, он в любом обществе будет говорить о вас только хорошее, будет подыскивать для вас новых кредиторов, чтобы вы могли обернуться и чужой землей засыпать его яму^[212].

Прежде всего они всегда будут молиться, чтобы вы раздобыли денег. Это похоже на положение рабов древности, которых приносили в жертву во время похорон их хозяина. Когда они желали своему хозяину долгой жизни и крепкого здоровья, они были совершенно искренни! Более того, долг может превратить вас в своего рода бога, который может сделать нечто (деньги, доброжелательных кредиторов) из ничего.

Я вам больше скажу: клянусь святым угодником Баболеном, всю свою жизнь я смотрел на долги как на связующее звено, как на связующую нить между небесами и землей, как на единственную опору человеческого рода, без шпоторой люди давно бы погибли. Быть может, это и есть та великая мировая душа, которая, согласно учению академиков, все на свете оживляет.

Чтобы вам это стало ясно, вообразите себе идею и форму какого-нибудь мира – возьмите хотя бы тридцатый мир, описанный философом Метродором <...>, но только лишенный должников и кредиторов. Мир без долгов! В подобном мире тотчас нарушится правильное течение небесных светил. Вместо этого полнейший беспорядок. Юпитер, не считая себя более должником Сатурна, лишит его орбиты и своею гомерическою цепью опутает все умы, всех богов, небеса, демонов, гениев, героев, бесов, землю, море, все стихии <...> Луна нальется кровью и потемнеет. С какой радости солнце будет делиться с ней своим светом? Оно же ей ничем теперь не обязано. Солнце перестанет освещать землю. Светила перестанут оказывать на нее благотворное влияние <...>

Между стихиями прекратится всякое общение, прекратится их чередование и превращение, оттого что ни одна из них не будет считать себя

в долгу у другой, ведь та ничего ей не ссудила. Земля не будет производить воду, вода не будет превращаться в воздух, воздух – в огонь, огонь перестанет греть землю. Земля ничего не будет рождать, кроме чудовищ <...> Дождь перестанет дождить, свет светить, ветер веять, не будет ни лета, ни осени. Люцифер порвет на себе оковы и, вместе с фуриями, эриниями и рогатыми бесами выйдя из преисподней, постарается прогнать с неба богов всех великих и малых народов.

Более того, если бы люди ничего не были друг другу должны, жизнь была бы «не лучше собачей драки» – простой потасовкой без правил.

Люди перестанут спасать друг друга. Каждый волен будет кричать во всю мочь: «Пожар!», «Тону!», «Караул!», никто не придет на помощь. Отчего? Оттого, что он никому не дал займы, никто ему не должен. Никому нет дела, что дом его горит, что корабль его идет ко дну, что он разорился, что он умирает. Раз он сам никого не ссужал, то, наверно, и его никто не ссудит.

Коротко говоря, из такого мира будут изгнаны Вера, Надежда, Любовь.

Панург, человек без семьи, главное призвание которого было добывать много денег и затем их тратить, выступает как пророк мира, который тогда только лишь рождался. Конечно, он говорил с позиции должника *состоятельного*, а не такого, которого могли бросить в какую-нибудь зловонную тюрьму за неуплату долга. Как бы то ни было, то, что он описывает, является логическим следствием, *reductio ad absurdum*⁵, которому Рабле, как обычно, придает гротескные формы, допущений относительно мира обмена, скрывающегося за нашими милыми буржуазными формальностями (сам Рабле, кстати, их ненавидел – его книга представляет собой смесь классической эрудиции и грязных шуток).

То, что он говорит, – правда. Если мы утверждаем, что любое взаимодействие между людьми заключается в том, что люди обменивают одну вещь на другую, то долгосрочные отношения могут принимать исключительно форму долгов. Без них никто никому и ничего не будет должен. Мир без долгов вернется к изначальному хаосу к войне всех против всех; никто не будет испытывать ни малейшей ответственности по отношению к другим; сам факт того, что ты человек, не будет иметь никакого значения; мы все превратимся в обособленные планеты, которые даже не будут способны удерживаться на своих собственных орбитах.

Пантагрюэль так не думает и говорит, что его отношение к этому вопросу может быть выражено словами апостола Павла: «Не оставайтесь должными никому ничем, кроме взаимной любви»^[213]. Затем он выдает фразу совершенно в библейском духе: «От того, что было в прошлом, я вас избавляю».

«Мне остается только поблагодарить вас», – отвечает Панург.

⁵ Сведением к абсурду (*лат.*).

Глава 6

Игры с сексом и со смертью

Когда мы возвращаемся к анализу общепринятой экономической истории, в глаза бросается то, как много всего из нее было убрано. Сведение всей человеческой жизни к обмену приводит не только к замалчиванию остальных форм экономического взаимодействия (иерархии, коммунизма), но и к тому, что из поля зрения исчезает подавляющее большинство людей, которые не являются взрослыми мужчинами и чье повседневное существование довольно трудно свести к обмену вещами с целью получения взаимной выгоды.

В результате мы получаем выхолощенное представление о том, как на самом деле ведутся дела. Аккуратный мир магазинов и торговых центров – главная среда существования среднего класса, но и вверху, и внизу системы, в мире финансистов и гангстеров, ведение дел зачастую не сильно отличается от того, как это происходит у гунвинггу или намбиквара: там тоже немаловажную роль играет секс, наркотики, музыка, угощения на широкую ногу и вероятность применения насилия.

Возьмем пример Нейла Буша (брата Джорджа Буша-мл.). В ходе бракоразводного процесса он признался в неоднократной измене с женщинами, которые, как он утверждал, таинственным образом появлялись в его гостиничных номерах в Таиланде и Гонконге после важных деловых встреч.

«Вы должны признать, что это довольно странно, – заметил один из адвокатов его жены, – когда мужчина идет в свой гостиничный номер, открывает дверь, обнаруживает на пороге женщину и занимается с ней сексом».

«Это было очень необычно», – отвечал Буш, признав тем не менее, что такое с ним случилось несколько раз.

«Это были проститутки?» – «Я не знаю»^[214].

На самом деле такие случаи в порядке вещей, когда в игру вступают большие деньги.

В свете этого утверждение экономистов о том, что экономическая жизнь начинается с меновой торговли, с невинного обмена стрел на остовы вигвамов и дальше так и продолжается и что в ней нет места изнасилованиям, унижению и пыткам, выглядит трогательным, но утопичным.

Однако из-за этого истории, которые мы рассказываем, полны белых пятен, а женщины в них появляются словно ниоткуда, без какого-либо объяснения, так же как тайские девушки на пороге комнаты Буша. Вспомните цитированный в третьей главе отрывок из работы нумизмата Филипа Грисона о деньгах в варварских правдах:

В валлийских законах для выражения размеров компенсации использовался прежде всего скот, а в ирландских – скот или крепостные (кумалы); и в том и в другом случае также широко использовались драгоценные металлы. В германских правдах штрафы указывались в основном в драгоценных металлах...^[215]

Как можно прочесть этот отрывок, не остановившись в конце первой же строчки? «Крепостные»? Разве это не означает «рабы»? (Означает.) В древней Ирландии рабынь было так много и они играли такую важную роль, что их стали использовать в качестве денег. Как это произошло? И если мы пытаемся понять, откуда взялись деньги, разве не интересен и весом тот факт, что люди используют в качестве денег *друг друга!*^[216] Тем не менее ни один источник, касающийся денег, особого внимания на это не обращает. По-видимому, в эпоху

варварских прав рабынями не торговали, а просто использовали их как единицу учета. Тем не менее в какой-то момент ими явно торговали. Кем они были? Как попадали в неволю? Их захватывали в плен на войне, продавали родители или же они становились рабынями из-за долгов? Были ли они важным предметом торговли? Ответ на все эти вопросы, судя по всему, должен быть положительным, но больше об этом трудно что-либо сказать, поскольку эта история до сих пор толком не написана^[217].

Или вернемся к притче о непрощающем рабе. «А как он не имел чем заплатить, то государь приказал продать его, и жену его, и детей, и всё, что он имел, и заплатить». Как это произошло? Обратите внимание, что здесь мы говорим даже не об уплате процентов по долгу (он уже является слугой кредитора), а о рабстве в чистом виде. Как так получилось, что жена и дети мужчины стали считаться чем-то вроде овец или посуды – собственностью, которую можно распродать в случае неуплаты долга? Когда в Палестине в первом веке мужчина продавал свою жену, считалось ли это нормальным? (Не считалось.)^[218] Если он не владел ею, почему кому-то другому дозволялось продавать ее, когда он не мог расплатиться по долгам?

Те же вопросы можно задать относительно истории Неемии. Трудно не заметить отчаяния отца, который видит, как его дочь забирают чужаки. С другой стороны, встает вопрос: а почему они не забирали его? Ведь дочь денег не занимала.

Продажа отцом собственных детей вовсе не была обычным явлением в традиционных обществах. У этой практики совершенно особая история: она появляется в великих аграрных цивилизациях, от Шумера до Рима и Китая, как раз в то время, когда в них начинают использоваться деньги и возникают рынки и процентные ссуды; позднее она распространяется в более отдаленных районах, которые поставляли этим цивилизациям рабов^[219]. Более того, внимательный анализ исторических фактов дает все основания полагать, что *сама* одержимость патриархальной идеей чести, так сильно определяющей «традицию» на Ближнем Востоке и в средиземноморском мире, выросла из права отца отчуждать своих детей, которое рассматривалось как реакция на нравственную угрозу, исходившую со стороны рынка. Все это считается чем-то выходящим за рамки экономической истории.

Исключение всего этого вводит в заблуждение не только потому, что оставляет за рамками основные задачи, которые деньги были призваны решать в прошлом, но и потому, что не дает нам ясного представления о настоящем. В конце концов, что это за тайские девушки, которые таинственным образом появлялись на пороге гостиничного номера Нейла Буша? Почти наверняка они дети обремененных долгами родителей. И по всей вероятности, они сами стали рабынями из-за договорного долга^[220].

Однако сосредоточение внимания на сексуальной индустрии тоже может ввести в заблуждение. Тогда, как и сейчас, большинство женщин, оказавшихся в долговом рабстве, занимались в основном шитьем, готовкой и чисткой отхожих мест. Даже в Библии та из Десяти заповедей, что гласит «не желай жены ближнего своего», подразумевает не сладострастие (прелюбодеяние уже упоминалось в заповеди номер семь), а превращение ее в долговую рабыню – иными словами, в служанку, которая подметает чужой двор и развешивает белье^[221]. В большинстве таких случаев сексуальная эксплуатация была явлением эпизодическим (обычно незаконным, но иногда все же случавшимся и имевшим символическое значение). И снова, если мы избавимся от некоторых наших обычных шор, мы увидим, что за последние пять тысяч лет все изменилось намного меньше, чем мы привыкли думать.

* * *

Эти шоры становятся тем более забавными, когда мы обращаемся к антропологической литературе, посвященной так называемым первобытным деньгам, т. е. тому, с чем мы стал-

квиваемся там, где нет ни государств, ни денег. Идет ли речь об ирокезском вампуме, о ткани или о перьях, служивших деньгами в Африке и на Соломоновых островах соответственно, мы везде обнаруживаем, что эти деньги почти всегда используются для совершения таких сделок, о которых экономисты говорить не любят.

Именно поэтому термин «первобытные деньги» обманчив – ведь он подразумевает, что мы имеем дело с примитивной версией тех денег, которые используем сегодня. Но этого-то как раз и не было. Часто на такие деньги вообще ничего не покупали и не продавали^[222]. Они использовались для того, чтобы создавать, поддерживать и приводить в порядок отношения между людьми: устраивать свадьбы, устанавливать отцовство детей, прекращать кровную вражду, утешать скорбящих на похоронах, вымаливать прощение за преступления, заключать договоры, приобретать сторонников, – практически для всего что угодно, за исключением торговли в обмен на батат, лопаты, свиней или драгоценности.

Часто эти деньги имели настолько важное значение, что можно было говорить о том, что вся общественная жизнь крутилась вокруг их собирания и раздачи. Однако они отражали совершенно иное понимание того, что такое деньги или даже экономика в принципе. Поэтому я буду называть их «социальными деньгами», а экономики, в которых они используются, – «человеческими экономиками». Этим я не хочу сказать, что такие общества более человечны (некоторые из них довольно человечны, другие – на редкость жестоки); я имею в виду лишь то, что в этих экономических системах главным является не накопление богатства, а создание, уничтожение или налаживание отношений между людьми.

Исторически торговые, или – как мы привыкли их называть – рыночные, экономики появились относительно недавно. На протяжении большей части истории преобладали экономики человеческие. А значит, чтобы начать писать настоящую историю долга, мы должны начать с вопроса: какие долги и какие кредиты накапливают люди в человеческих экономиках? И что происходит, когда человеческие экономики начинают клониться к закату или уступают под натиском торговых? Это другая формулировка вопроса «Как простые обязательства превращаются в долги?», но речь здесь идет не об абстрактной проблеме, а об анализе исторических свидетельств с целью восстановить то, что происходило на самом деле.

Этим я и займусь в ближайших двух главах. Сначала я исследую роль денег в человеческих экономиках, а потом опишу, что может происходить, когда человеческие экономики вдруг попадают в экономическую орбиту более масштабных торговых. Особенно трагичным примером последнего служит африканская работорговля. Затем, в следующей главе, я вернусь к вопросу о возникновении первых торговых экономик в ранних цивилизациях в Европе и на Ближнем Востоке.

Деньги как неадекватная замена

Самую интересную теорию о происхождении денег недавно выдвинул Филипп Роспабе, французский экономист, ставший антропологом. Его работы, практически неизвестные в англоязычном мире, довольно оригинальны и непосредственно относятся к нашей проблеме. Роспабе полагает, что «первобытные деньги» изначально не использовались для выплаты каких-либо долгов. Они служили признанием того факта, что есть долги, которые выплатить нельзя. Его точку зрения стоит рассмотреть подробнее.

В большинстве человеческих экономик деньги используются прежде всего для устройства свадеб. Проще всего это было сделать, выплатив так называемый калым ("brideprice"⁶): семья жениха давала определенное количество собачьих зубов, раковин, латунных колец или чего-то еще, выполнявшего функции местных социальных денег, семье девушки, которая в свою очередь отдавала им невесту. Легко понять, почему это может рассматриваться как покупка женщины, – многие колониальные чиновники, служившие в Африке и Океании в начале XX века, именно так это и понимали. Такая практика вызывала возмущение, и в 1926 году в Лиге Наций даже обсуждался вопрос о ее запрете как одной из форм рабства. Антропологи возражали. На самом деле, объясняли они, это не имело ничего общего с покупкой, скажем, вола и уж тем более пары сандалий. В конце концов, если вы покупаете вола, то не несете *по отношению* к нему никакой ответственности. Вы, по сути дела, покупаете право распоряжаться волом по собственному усмотрению. Свадьба совсем другое дело, поскольку муж, как правило, несет такую же ответственность перед женой, как и жена перед ним. Это был способ наладить отношения между людьми. Далее, если бы вы действительно покупали жену, вы могли бы ее продать. А подлинное значение платежа касается статуса детей женщины: если муж что-то и покупает, так это право называть ее отпрысков своими^[223].

Антропологи в конце концов выиграли этот спор, и «калым» был переименован в «свадебный выкуп» ("bridewealth"). Но они так и не ответили на вопрос о том, что именно происходит в таком случае. Когда семья жениха с острова Фиджи преподносит китовый зуб и просит руки девушки, является ли это авансом за услуги, которые женщина окажет, возделывая огород своего будущего мужа? Или он покупает будущую плодовитость ее чрева? Или же это чистая формальность, эквивалент доллара, который должен перейти из рук в руки, для того чтобы скрепить контракт? По мнению Роспабе, ни то, ни другое, ни третье. Китовый зуб – ценный предмет, но средством платежа он не является. На самом деле это признание того, что один просит что-то настолько уникальное, что оплатить это просто невозможно. Единственная подходящая оплата за преподнесение в дар женщины – это преподнесение в дар другой женщины; пока этого не произойдет, все, что можно сделать, – это признать наличие долга.

* * *

Иногда женихи высказывают это довольно определено. Возьмем пример народа тив из Центральной Нигерии, с которым мы уже встречались в предыдущей главе. Большая часть имеющейся о нем информации относится к середине XX века, когда он все еще находился под британским владычеством^[224]. Каждый в те времена считал, что правильный брак должен принимать форму обмена сестрами. Один мужчина отдает свою сестру замуж другому,

⁶ Дословно: цена за невесту.

который в свою очередь отдает свою сестру в жены новоявленному зятю. Это идеальный брак, потому что в обмен на одну женщину мужчина может дать только другую женщину.

Разумеется, даже если бы в каждой семье было равное количество братьев и сестер, система не могла бы функционировать так четко. Допустим, я женюсь на вашей сестре, но вы на моей жениться не хотите (потому что она вам не нравится или ей всего пять лет от роду). В этом случае вы становитесь ее «опекуном», т. е. вы можете претендовать на то, чтобы выдать ее замуж за кого-то другого, например за того, чью сестру вы хотите взять в жены. Все это быстро превратилось в сложную систему, в которой влиятельные мужчины стали опекунами многочисленных «подопечных», зачастую рассеянных по обширной территории; они обменивали их и в ходе этого процесса накапливали много жен для себя, в то время как менее удачливые мужчины женились позже или могли вообще остаться холостяками^[225].

Был и другой способ. В те времена самым престижным видом денег у тив были связки латунных трубок. Ими владели только мужчины, которые никогда не использовали их для покупки вещей на рынке (на рынках царили женщины) и обменивали их лишь на те вещи, которые считали очень важными: скот, лошадей, слоновую кость, медицинский уход, колдовские чары. Как объяснял Акига Сай, исследователь тив, жену можно было приобрести за латунные трубки, но требовалось их очень много. Нужно было дать две-три связки ее родителям, чтобы стать женихом; затем, после ее похищения (с которого всегда начинались такие свадьбы), еще несколько связок нужно было для того, чтобы успокоить мать, которая с показным гневом требовала объяснить, что вообще происходит. Пять связок отдавались опекуну невесты, чтобы он хотя бы временно смирился со случившимся, и еще больше ее родителям, когда она рожала, если, конечно, вам удавалось уговорить их признать, что отец ребенка – вы. Так можно было избавиться от родителей, но не от опекуна, которому надо было платить всегда, потому что за деньги права на женщину купить было нельзя. Все знали, что в обмен на одну женщину можно было дать только другую. В этом случае каждый должен разделять убеждение, что однажды такая женщина появится. А пока этого не случилось, как емко выразился один этнограф, «долг никогда не может быть выплачен полностью»^[226].

По мнению Роспабе, тив просто открыто выражают логику, которая повсеместно лежит в основе свадебного выкупа. Жених, предлагающий его, никогда не платит за женщину или за право называть ее детей своими. Это означало бы, что латунные трубки, китовые зубы, раковины каури или даже скот являются эквивалентом человека, что совершенно абсурдно с точки зрения человеческой экономики. Эквивалентом человека мог считаться только другой человек. Тем более что в случае брака речь идет о чем-то даже более ценном, чем человеческая жизнь, а именно о человеческой жизни, которая способна сама порождать новые жизни.

Конечно, многие из тех, кто выкупает невесту, действуют, как и тив, довольно откровенно. Выкупные деньги не даются для того, чтобы выплатить долг, а служат своего рода признанием, что есть долг, который *не может* быть выплачен деньгами. Часто обе стороны будут по крайней мере придерживаться той фикции, что однажды он будет возвращен, т. е. что клан жениха отдаст одну из своих женщин – возможно, даже дочь или внучку этой самой женщины – за мужчину из родного клана жены. Вероятно, будет достигнуто какое-то соглашение относительно ее детей или же ее клан оставит себе одного ребенка. Вариантов может быть бесконечно много.

* * *

Таким образом, как пишет Роспабе, деньги возникают «как замена жизни»^[227]. Это можно назвать признанием долга за жизнь, что, в свою очередь, объясняет, почему тот же самый вид денег, при помощи которого устраивались браки, использовался и для уплаты вергельда (или «выкупа за кровь», как его иногда называют): эти деньги выплачивались

семье убитого для того, чтобы предотвратить кровную вражду или положить ей конец. Здесь источники еще более определены. С одной стороны, человек дает китовые зубы или латунные трубки, так как родня убийцы признает, что должна жизнь семье жертвы. С другой – китовые зубы или латунные трубки ни в коей мере не являются и не могут являться компенсацией за убитого родственника. Разумеется, никто из тех, кто давал такую компенсацию, не был настолько глуп, чтобы утверждать, что какая-то сумма денег могла служить «эквивалентом» стоимости чьего-то отца, сестры или ребенка.

И в этом случае деньги тоже в первую очередь служат признанием того, что вы должны нечто намного более ценное, чем деньги.

В случае кровной вражды обе стороны знают, что даже убийство, совершенное ради мести, хотя и соответствует принципу «жизнь за жизнь», на самом деле не возместит страданий жертвы. Это знание дает возможность решить дело без применения насилия. Но даже в этом случае часто возникает чувство, что, как и в случае с браком, *настоящее* решение проблемы просто отложено на какое-то время.

Пожалуй, стоит привести пример. Среди нуэров есть особый класс сакральных особ, которые специализируются на улаживании кровной вражды; в литературе они фигурируют как «вожди в леопардовых шкурах». Если один человек убивает другого, то он сразу же отправляется на поиски одного из участков, которые им принадлежат и считаются священными, а значит, неприкосновенными: даже семья покойного, для которой отомстить убийце – дело чести, знает, что туда нельзя проникать под страхом ужасных последствий. Согласно классическому рассказу Эванса-Причарда, вождь немедленно попытается привести семьи убийцы и жертвы к мировому соглашению – это задача не из простых, потому что семья жертвы всегда сначала отказывается:

Прежде всего вождь узнает, сколько скота у родичей убийцы и сколько они готовы отдать в порядке компенсации <...> Затем вождь посещает родичей убитого и просит их принять скот в уплату за жизнь убитого. Обычно они отказываются, ибо это дело чести и им положено поупрямиться. Но отказ не означает, что они не хотят принять компенсацию. Вождь знает это и настаивает на согласии, даже угрожает проклятием, если они не уступают...^[228]

В дело вмешиваются дальние родственники, напоминающие каждому об ответственности перед общиной в целом и о вреде, который причинит невинным близким продолжающаяся вражда. Близкие убитого долго демонстративно отказываются мириться, настаивая на том, что сама мысль, будто какое-то количество скота может служить заменой жизни сына или брата, оскорбительна, но затем обычно неохотно соглашаются^[229]. Но даже когда проблема в принципе решена, на самом деле не все еще улажено: обычно нужны годы, чтобы собрать необходимое количество скота; и, даже когда его отдают, обе стороны избегают друг друга, «особенно на танцах, которые возбуждают людей, когда даже нечаянный толчок может вызвать драку. Обида никогда не забывается, и расплатиться в конце концов надо человеческой жизнью»^[230].

То есть это очень похоже на свадебный выкуп. Деньги не стирают долг. Одна жизнь может быть оплачена только другой. В лучшем случае те, кто платит выкуп за кровь, могут заморозить существующую ситуацию, признав наличие долга и утверждая, что они хотели бы его выплатить, хотя и знают, что это невозможно.

На другом конце света ирокезы Лиги шести племен разработали сложные механизмы для того, чтобы избегать таких ситуаций. По словам Льюиса Генри Моргана, в случае если один человек убивал другого,

сразу же по совершении убийства за примирение брались племена, к которым принадлежали обе стороны, и предпринимали энергичные усилия к тому, чтобы его добиться, пока частная месть не привела к губительным последствиям.

Первый совет выяснял, был ли обидчик склонен сознаться в своем преступлении и согласен ли он на возмещение. Если да, то совет немедленно посылал от его имени другому совету пояс из белого вампума, содержащий соответствующее сообщение. Тогда этот совет старался умиротворить семью убитого, успокоить ее возбуждение и убедить их принять вампум в знак прощения^[231].

Как и у нуэров, у ирокезов существовали сложные схемы, предписывавшие, сколько саженей вампума нужно было выплачивать в зависимости от статуса жертвы и характера преступления. Как и у нуэров, здесь тоже все утверждали, что речь *не* идет об оплате. Стоимость вампума ни в коей мере не соответствовала стоимости жизни погибшего человека:

Дар из белого вампума не носил характера компенсации за жизнь убитого, а являлся выражением признания вины и раскаяния в совершенном преступлении, а также просьбой о прощении. Он был предложением мира, принятия которого добивались общие друзья...^[232]

Действительно, во многих случаях можно было манипулировать системой таким образом, чтобы платежи, призванные умерить чьи-то гнев и горе, становились способами создания новой жизни, которая в определенном смысле заменяла ту, что была потеряна. Среди нуэров стандартной платой за выкуп крови были сорок голов скота. Но ровно столько же обычно составлял свадебный выкуп. Логика была такова: если мужчина был убит до того, как женился и у него появилось потомство, его дух, лишенный вечности, естественно, разгневан. Лучшим решением было пустить скот, выплаченный в обмен на улаживание конфликта, на приобретение так называемой невесты для умершего, т. е. женщины, которая формально выйдет замуж за погибшего человека. На практике ее обычно выдавали за одного из братьев умершего, но это не имело особого значения: неважно, от кого она беременела, – этот человек все равно не становился отцом ее детей. Считалось, что они дети духа убитого и что каждый сын, которого она рожала, рос с обязательством однажды отомстить за его смерть^[233].

Последний вариант необычен. Но нуэры вообще проявляли неожиданное упорство в вопросах кровной вражды. Примеры из других частей света, которые приводит Роспабе, еще более показательны. Например, среди бедуинов Северной Африки для семьи убийцы иногда единственной возможностью уладить распрю было отдать дочь замуж за одного из ближайших родственников убитого, например за брата. Если она рожала мальчика, ему давали имя погибшего дяди и он считался, по крайней мере в широком смысле, заменой последнего^[234]. Ирокезы, у которых наследование шло по женской линии, так с женщинами не поступали. Однако у них был другой, более прямолинейный, подход. Если умирал мужчина, пусть даже и естественной смертью, родственники его жены могли «начертать его имя на циновке», т. е. дать пояса из вампума для снаряжения военного отряда, который напал на вражеское селение, чтобы захватить пленника. Пленника могли либо убить, либо, если матроны клана были в добром расположении духа (этого никто не мог предугадать; траурная печаль – дело тонкое), принять к себе: в таком случае на плечи ему набрасывали пояс из вампума, он получал имя умершего, женился на его вдове и наследовал его личную собственность – иными словами, он становился совершенно таким же человеком, каким был погибший^[235].

Все это лишь подтверждает основной тезис Роспабе о том, что в человеческих экономиках деньги можно рассматривать в первую очередь как признание долга, который не может быть выплачен.

Все это довольно сильно напоминает теорию изначального долга: деньги возникают из признания абсолютного долга перед тем, что дало вам жизнь. Разница в том, что в данном случае считается, что такие долги не складываются между человеком и обществом или, возможно, космосом, а образуют своего рода сеть бинарных отношений: в подобных обществах почти каждый человек находился в абсолютном долгу по отношению к кому-то другому. Мы ничего не должны «обществу». Если здесь и есть понятие общества – что совсем не очевидно – то общество и *состоит* из наших долгов.

Долги крови (леле)

Разумеется, это возвращает нас все к той же проблеме: как символ признания того, что долг выплатить нельзя, превращается в форму платежа, посредством которого долг может быть погашен? Более того, проблема кажется еще более запутанной, чем прежде.

На самом деле это не так. Африканские данные ясно показывают, как такие вещи могут происходить, – хотя ответ несколько сбивает с толку. Чтобы показать это, нужно подробнее исследовать пару африканских обществ.

Я начну с африканского народа леле, который к 1950-м годам, когда его изучала Мэри Дуглас, сумел преобразовать долги крови в организующий принцип всего общества.

В те времена численность леле, проживавших на узком участке холмистой территории близ реки Касаи в Бельгийском Конго, составляла около десяти тысяч человек. По мнению куба и бушонгов, их более зажиточных и открытых миру соседей, они были грубыми дикарями. Женщины леле выращивали кукурузу и маниок, мужчины считали себя бесстрашными охотниками, но большую часть времени проводили за шитьем ткани из волокон пальмы рафия, которой славилась эта область. Леле не только пользовались ею сами, но и экспортировали ее и потому считали себя главными портными в этих краях; у окружающих народов они выменивали на нее предметы роскоши. Среди самих леле ткань выполняла роль денег, однако не имела хождения на рынках (их и не было) и, как с удивлением обнаружила Мэри Дуглас, внутри деревни на нее нельзя было купить еду, инструменты, столовую посуду или что-либо еще^[236]. Ткань являлась базовыми социальными деньгами.

Неформальные подарки в виде ткани из рафии смягчают все общественные отношения: мужа с женой, сына с матерью или с отцом. В случае напряженности ткань служит средством примирения; она может быть прощальным подарком или сопровождать поздравления. Есть и формальные подарки рафии, отказ от которых может привести к разрыву социальных связей. Мужчина, достигший зрелости, должен подарить 20 кусков ткани своему отцу. В противном случае его осмеют, когда он попросит у отца помощи, чтобы покрыть расходы на свадьбу. Мужчина должен дарить 20 кусков ткани своей жене всякий раз, когда она рождает...^[237]

Тканью также уплачивались различные пени и штрафы и оплачивались услуги знахарей. Например, если чья-то жена изобличала соблазнителя, то по обычаю ее вознаграждали двадцатью кусками ткани за верность (это не было обязательным, но считалось крайне недальновидным так не делать); пойманный прелюбодей должен был уплатить пятьдесят или сто кусков ткани мужу женщины; если муж и любовник нарушили покой в деревне, устроив драку до того, как дело было решено, каждый должен был уплатить два куска в качестве компенсации и т. д.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

Комментарии

1.

С тем ожидаемым результатом, что строили их не для облегчения передвижения мальгашей по их стране, а в основном для перевозки продуктов с плантаций в порты. Оттуда товары экспортировались, а деньги от экспорта шли на строительство шоссейных и железных дорог – и круг замыкался.

2.

Соединенные Штаты, например, признали Республику Гаити лишь в 1860 году. Франция упорно продолжала настаивать на своем, и в конце концов Республика Гаити была вынуждена выплатить эквивалент 21 миллиарда долларов с 1925 по 1946 год: в течение большей части этого периода она была оккупирована американской армией.

3.

Hallam 1866 V: 269–270. Поскольку правительство не считало целесообразным платить за содержание несостоятельных должников, заключенные должны были сами полностью покрывать расходы на свое пребывание за решеткой. Если они не могли этого делать, они просто умирали с голоду.

4.

Если мы будем рассматривать ответственность за уплату налогов как долг, то должников – подавляющее большинство; долги и налоги тесно связаны, поскольку в истории необходимость собрать деньги для уплаты налогов всегда была самой частой причины залезания в долги.

5.

Finley 1960: 63, 1963: 24, 1974: 80, 1981: 106, 1983: 108. И это только те движения, историю которых мне удалось проследить. То, что он говорит о Греции и Риме, полностью применимо к Японии, Индии или Китаю.

6.

Galey 1983.

7.

Жак де Витри, в: Le Goff 1990: 64.

8.

Киокай. Записи чудесных событий в Японии (около 822 года), Сказка 26, цит. по: La Fleur 1986: 36. Также Nakamura 1996: 257–59.

9.

Там же, 36.

10.

Там же, 37.

11.

Саймон Джонсон, ведущий экономист МВФ в то время, кратко изложил эту историю в недавней статье в газете The Atlantic: «Почти все регуляторы, законодатели и ученые

считали, что менеджеры этих банков знали, что делали. Сейчас выясняется, что нет. Например, в 2005 году отдел финансовых продуктов компании AIG получил 2,5 млрд долларов чистой прибыли до вычета налогов благодаря страхованию по заниженной цене сложных и малопонятных ценных бумаг. Эта стратегия, которую часто описывают как “собираание монеток перед движущимся паровым катком”, приносит прибыль в обычные годы и грозит катастрофой в плохие, как это было прошлой осенью, когда объем обязательств по страхованию ценных бумаг, предъявленных к оплате компании AIG, превысил 400 млрд долларов. К сегодняшнему дню правительство США, пытаясь спасти компанию, выделило около 180 млрд долларов в виде инвестиций и кредитов на покрытие потерь, которые AIG исходя из своих сложных моделей оценки рисков считала невозможными» (Johnson, 2010). Конечно, Джонсон не принимает в расчет вероятность того, что в AIG прекрасно знали, что может произойти, но не обращали на это внимания, потому что верили, что паровой каток раздавит кого-нибудь другого.

12.

В отличие от США в Англии национальный закон о банкротстве был принят еще в 1571 году. Предпринятая в США в 1800 году попытка разработать федеральный закон провалилась; такой закон действовал в течение короткого периода с 1867 по 1878 год и был призван облегчить положение отягощенных долгами ветеранов Гражданской войны, но был в конце концов отменен из нравственных соображений (современная история хорошо изложена в: Mann, 2002). Реформа законодательства о банкротстве в Америке скорее приведет к ужесточению, а не к облегчению условий, как это произошло с мерами по стимулированию промышленности, которые Конгресс принял в 2005 году, незадолго до великого кредитного краха.

13.

Например, фонд помощи взявшим ипотеку, который был учрежден после спасения банков, оказал поддержку лишь небольшой части обратившихся. Не было предпринято никаких шагов по либерализации законов о банкротстве, которые были значительно ужесточены под давлением финансовых и промышленных кругов в 2005 году, всего за два года до краха.

14.

“In Jail for Being in Debt,” Chris Serres & Glenin Howatt, Minneapolis-St. Paul Star Tribune, June 9, 2010, www.startribune.com/local/95692619.html.

15.

“IMF warns second bailout would ‘threaten democracy.’” Angela Jameson and Elizabeth Judge, business.timesonline.co.uk/tol/business/economics/article6928147.ece#cid=OTC-RSS&attr=1185799, accessed November 25, 2009.

16.

Case, Fair, Gärtner, & Heather 1996: 564.

17.

Там же.

18.

Begg, Fischer, and Dornbusch (2005: 384); Maunder, Myers, Wall, and Miller (1991: 310); Parkin & King (1995: 65).

19.

Stiglitz and Driffill 2000: 521.

20.

Аристотель. Политика, I.9.1257. Цит. по Аристотель Сочинения. М.: Мысль. Серия «Философское наследие». Т. 4. 1983.

21.

Неясно также, действительно ли здесь речь идет о меновой торговле. Аристотель использовал термин “*métadosis*”, который в его времена обычно означал «дележ» или «распределение». Начиная со Смита он обычно переводится как «меновая торговля», но, как подчеркивал Карл Поланьи (Polanyi 1957a: 93), это не совсем точно передает смысл термина, если только Аристотель не вкладывал в него совершенно новое значение. Исследователи происхождения греческих денег, от Лаума (Laum 1924) до Сифорда (Seaford 2004), подчеркивали, что традиции распределения вещей (например, военной добычи или жертвенного мяса), возможно, сыграли ключевую роль в развитии денежного обращения в Греции. (Критику аристотелевской традиции, предполагающей, что Аристотель говорил о меновой торговле, см. в Fahazmanesh 2006.)

22.

Эту литературу исследует в своих работах Жан-Мишель Серве (Servet 1994, 2001). Он также отмечает, что в XVIII веке такие рассказы вдруг исчезли, а на смену им пришли многочисленные описания примеров «примитивной меновой торговли» в Океании, Африке и обеих Америках.

23.

О богатстве народов I.2.1–2 (здесь и далее используемые автором цитаты из Адама Смита приводятся по русскому изданию: Смит Адам. Исследование о природе и причинах богатства народов / пер. В. Афанасьева. М.: Эксмо, 2007. – Примеч. пер.). Как мы увидим, этот сюжет, судя по всему, был позаимствован из намного более древних источников.

24.

«Если мы исследуем свойственный человеческому разуму принцип, обуславливающий предрасположенность к обмену, то обнаружим в его основе естественную склонность всякого человека к убеждению. Нам кажется, что такой жест, как предложить другому шиллинг, имеет простое значение, но на самом деле его смысл заключается в том, чтобы предложить другому аргумент в пользу того, чтобы он делал определенные вещи так, как если бы сам был в этом заинтересован» (Лекции по юриспруденции, 56). Интересно отметить, что именно к Смиту восходит предположение о том, что представление об обмене лежит в основе наших умственных функций и проявляется как в языке (обмен словами), так и в экономике (обмен материальными предметами). Многие антропологи относят его к Клоду Леви-Строссу (1963: 296).

25.

Отсылка к скотоводам подразумевает, что речь может идти об иной части мира, но в другом месте его примеры, такие как обмен оленей на бобров, подтверждают, что он имеет в виду леса северо-восточной части Северной Америки.

26.

О богатстве народов I.4.2.

27.

О богатстве народов I.4.3.

28.

О богатстве народов I.4.7.

29.

Мысль об исторической последовательности от меновой торговли к деньгам, а затем к кредиту впервые появилась в лекциях итальянского банкира Бернардо Даванцати (1529–1606; в Waswo, 1996); в теоретическую форму ее облекли немецкие историки экономики. Бруно Хильдебранд (Hildebrand 1864) выделил доисторическую стадию меновой торговли, античную стадию чеканки монет и затем, после возвращения к меновой торговле в Средние века, современную стадию экономики, основанной на кредите. В работах его ученика Карла Бюхера она приобрела свой канонический вид (Bücher 1907). Эта последовательность, ставшая общепризнанной, возникает в подспудной форме в трудах Маркса, в открытую о ней говорит Зиммель – и это несмотря на то, что почти все последующие исторические исследования доказали ее ошибочность.

30.

Хотя эти данные произвели впечатление на многих других. Работа Моргана (1851, 1877, 1881), в которой подчеркивалось существование общинных прав собственности и чрезвычайно важная роль женщин, чьи советы в значительной степени контролировали экономическую жизнь, так впечатлила многих радикальных мыслителей, в том числе Маркса и Энгельса, что те положили ее в основу противоположного мифа о первобытном коммунизме и первобытном матриархате.

31.

Энн Чапмен (Chapman 1980) идет еще дальше, отмечая, что если под меновой торговлей понимать только обмен предметами, не подразумевающий налаживания отношений между людьми, то в таком виде она могла вообще никогда не существовать. См. также Heady 2005.

32.

Levi-Strauss 1943; цит. по: Servet 1982: 33.

33.

Можно представить себе, как велик был соблазн сексуального разнообразия для молодых мужчин и женщин, привыкших проводить почти все свое время в компании дюжины других людей такого же возраста.

34.

Berndt 1951: 161, ср. Gudeman 2001: 124–25, анализ которого довольно близок к моему.

35.

Berndt 1951: 162.

36.

Хотя, как будет показано ниже, неверно говорить о том, что международный бизнес никогда не касается музыки, танцев, пищи, наркотиков, элитной проституции или возможности применения насилия. Примеры, касающиеся последних двух сфер, см. в Perkins 2005.

37.

Lindholm 1982: 116.

38.

Серве (Servet 2001: 20–21) приводит огромное количество таких терминов.

39.

Утверждение столь очевидное, что странно, что его не выдвигали чаще. Насколько мне известно, единственным классическим экономистом, рассматривавшим возможность того, что отсроченные платежи могут сделать меновую торговлю ненужной, был Ральф Хоутри (Hawtrey 1928: 2, цит. по: Einzig 1949: 375). Все остальные безо всяких на то оснований утверждают, что любой обмен даже между соседями должен обязательно принимать форму того, что экономисты имеют обыкновение называть «продажей за наличный расчет».

40.

Bohannan 1955; Barth 1969. cf. Munn 1986, Akin & Robbins 1998. Хорошее изложение этой концепции можно найти в: Gregory 1982: 48–49. Грэгори приводит пример системы, принятой в горных районах Папуа – Новой Гвинеи. Она насчитывает шесть категорий переменных: живые свиньи и казуары – это высшая категория, «подвески из жемчужных раковин, свиные полутуши, каменные топоры, головные уборы из перьев казуара и обручи для волос из раковин каури» – это вторая категория и т. д. Обычные предметы потребления относятся к двум последним категориям, которые состоят соответственно из деликатесов и основных видов овощей.

41.

См. Servet 1998, Humphries 1985.

42.

Классическое исследование на эту тему: Radford, 1945.

43.

Еще начале XVII века старые каролингские обозначения назывались «воображаемыми деньгами» – все упорно продолжали считать, что использовали фунты, шиллинги и пенсы (или ливры, денье и су) в течение последних 800 лет, хотя на протяжении большей части этого периода настоящие деньги выглядели совсем иначе или вовсе не существовали (Einaudi 1936).

44.

Другие примеры меновой торговли, сосуществующей с использованием денег, см. в: Orlove 1986; Barnes & Barnes 1989.

45.

Один из недостатков превращения вашей книги в классическую состоит в том, что люди зачастую проверяют подобные примеры. (Одно из преимуществ – даже если обнаруживается, что вы ошибаетесь, на вас все равно будут ссылаться как на авторитет.)

46.

Innes 1913: 378. Далее он отмечает: «Путем нехитрых умозаключений можно прийти к выводу, что основной товар нельзя использовать в качестве денег, поскольку гипотетически средство обмена в равной степени принимается всеми участниками сообщества. Значит, если рыбаки расплачиваются за свои покупки треской, торговцы тоже должны платить им треской за треску, а это очевидный абсурд».

47.

Судя по всему, сначала появились храмы; дворцы, значение которых со временем росло, переняли их административную систему.

48.

Это не выдумки Смита: сегодня такие слитки обозначаются термином «чушка» (например, Balmuth 2001).

49.

Ср. описание египетской системы у Grierson, 1977: 17.

50.

Например, Hudson, 2002: 25, 2004: 114.

51.

Innes, 1913: 381.

52.

Питер Спаффорд в своем монументальном труде «Деньги и их использование в средневековой Европе» (Spufford 1988), сотни страниц которого посвящены золотым и серебряным рудникам, монетным дворам и порче монеты, лишь два или три раза упоминает различные виды свинцовых или кожаных жетонов или мелкие кредитные соглашения, при помощи которых люди совершали подавляющее большинство повседневных сделок. По его словам, об этом «мы почти ничего не знаем» (Spufford 1988: 336). Еще более яркий пример – бирки, которые нам будут часто встречаться: их использование вместо денег было широко распространено в Средние века, но систематических исследований по этому вопросу, особенно за пределами Англии, почти не проводилось.

53.

Хайнсон и Стайгер (Heinsohn & Steiger 1989) даже считают, что главная причина, по которой их коллеги-экономисты не отказались от этой истории, заключается в том, что антропологи до сих пор не предложили убедительной альтернативы. И почти все истории денег по-прежнему начинаются с фантастических рассказов о меновой торговле. Другой прием заключается в обращении к чисто тавтологическим определениям: если «меновая торговля» представляет собой экономическую сделку, которая совершается без использования денег, то любая экономическая сделка, осуществляющаяся без денег, является меновой торговлей, вне зависимости от ее формы и содержания. Глен Дэвис (Glyn Davies 1996: 11–13) даже потлач описывает как «меновую торговлю».

54.

Мы часто забываем о том, что во всем этом была сильная религиозная составляющая. Сам Ньютон ни в коей мере не был атеистом, напротив, он пытался использовать свои математические способности для того, чтобы доказать, что мир действительно был создан приблизительно 23 октября 4004 года до н. э., как еще до него утверждал епископ Ашшер.

55.

Смит впервые использует словосочетание «невидимая рука» в своей работе «История астрономии» (III.2), но в «Теории нравственных чувств» (IV.1.10) он прямо говорит, что невидимая рука рынка – это рука «Провидения». О теологии Смита в целом см. в: Nicholls 2003: 35–43; о возможных связях со средневековым исламом см. гл. 10 нашей книги.

56.

Samuelson 1948: 49. Критику этой позиции см. в Heinsohn and Steiger 1989, а также Ingham 2004.

57.

Pigou 1949. Бояновски (Boianovsky 1993) излагает историю этого термина.

58.

«Нам не известна ни одна экономика, где меновая торговля осуществлялась бы без использования денег» (Fayazmanesh 2006: 87) – он имеет в виду учетные деньги.

59.

О роли правительства в появлении и развитии «саморегулирующегося рынка» в целом см. Polanyi 1949 (Поланьи Карл. Великая трансформация. Политические и экономические истоки нашего времени. СПб.: Алетейя, 2002). Традиционное представление либеральных экономистов о том, что если правительство самоустранится, то рынок появится сам собой, без предварительного создания необходимых юридических, правоохранительных и политических институтов, было опровергнуто, когда идеологи свободного рынка попытались навязать эту модель в бывшем Советском Союзе в 1990-х годах.

60.

Иннес, как обычно, отлично это формулирует: «Глаза никогда не видели, а руки никогда не притрагивались к доллару. Все, что мы можем потрогать или увидеть, это обещание заплатить или погасить долг за некое количество под названием “ доллар”». Далее он отмечает, что «все наши единицы измерения являются тем же самым. Никто никогда не видел унцию, фут или час. Фут – это расстояние между двумя точками, но ни расстояние, ни точки физически не существуют» (Innes 1914: 155).

61.

Отметим, что это предполагает наличие неких средств для расчета этой стоимости, т. е. какие-то учетные деньги уже существуют. Это может показаться очевидным, но многие антропологи упускают этот факт из виду.

62.

Чтобы читатель мог представить себе этот масштаб: даже в относительно небольшом торговом городе-государстве Гонконг сейчас в обращении находится около 23,3 млрд долларов при населении приблизительно в 7 млн человек. Таким образом, на одного жителя Гонконга приходится более 3000 долларов.

63.

«Истоки государственной теории восходят к началу XIX века, когда [Адам] Мюллер опубликовал книгу “Новая теория денег”, в которой попытался объяснить стоимость денег через выражение коллективного доверия и национальной воли. Эти идеи достигли полного развития в “Государственной теории денег” Г.-Ф. Кнаппа, впервые изданной в Германии в 1905 году. Кнапп считал абсурдными попытки понять деньги “без идеи государства”. Деньги – это не средство, рождающееся из обмена, а скорее средство учета долгов, самыми важными из которых являются долги налоговые» (Ingham 2004: 57). Книга Ингема – отличное изложение хартальной теории; значительная часть аргументации, которую я привожу, изложена в ней намного подробнее. Однако, как станет видно позже, по некоторым вопросам наши точки зрения расходятся.

64.

По-французски: ливры, су и денье.

65.

Einaudi 1936. Чиполла (Cipolla 1967) называет их «призрачными деньгами».

66.

О бирках: Jenkinson 1911, 1924; Innes 1913; Grandell 1977; Baxter 1989; Stone 2005.

67.

Снелл (Snell 1919: 240) отмечает, что, объезжая свои владения, короли иногда захватывали скот или другие предметы по «преимущественному» праву и расплачивались за них бирками, но позже было очень сложно заставить королевских представителей выплатить деньги: «Подданных вынуждали продавать; и хуже всего было то, что поставщики королевского двора имели обыкновение платить не наличными, а казначейскими бирками или тумачами... На практике при такой системе, дававшей простор для безнаказанного вымогательства, получить свое было делом непростым, из-за чего она стала предметом многочисленных жалоб в нашей ранней народной поэзии».

68.

В этом отношении интересно также отметить, что Банк Англии продолжал использовать бирки во внутренней отчетности во времена Адама Смита и отказался от этой практики только в 1826 году.

69.

Классическое исследование такого рода проблем см. в Engels (1978).

70.

Обращалась она в первую очередь к должникам, которых по понятным причинам привлекала мысль о том, что долг – это лишь социальный механизм, ни в коей мере не остававшийся неизменным, а создававшийся политикой правительства, которая легко могла быть изменена, – ко м у будет выгодна инфляционная политика, понятно и так.

71.

Об этом налоге: Jacob 1987; об исследовании в селении Бетсимисарака: Althabe 1968; о подобных исследованиях на Мадагаскаре: Fremigacci 1976; Rainibe 1982; Schlemmer 1983;

Feeley-Harnik 1991. В целом о колониальной налоговой политике в Африке: Forstater 2005, 2006.

72.

Так считают, например, Хайнсон и Стейгер (Heinsohn & Steiger 1989: 188–189).

73.

Серебро добывалось на самом Среднем Западе, и принятие биметаллизма с его золотым и серебряным обеспечением денег рассматривалось как шаг по направлению к свободным кредитным деньгам, который позволил бы местным банкам создавать деньги. В конце XIX века в Соединенных Штатах шло становление современного корпоративного капитализма, которому оказывалось яростное сопротивление. Главным полем битвы в этой борьбе стала централизация банковской системы, а одной из ведущих форм сопротивления – мутуализм, т. е. народные демократические (не нацеленные на получение выгоды) банковские и страховые договоренности. Сторонники биметаллизма были более умеренными наследниками гринбекеров, которые призывали вообще освободить банкноты от привязки к чему-либо, как это сделал Линкольн на короткий срок во время Гражданской войны (хорошее изложение исторического фона этих событий дает Дайг (Dighe, 2002)).

74.

В фильме серебряные башмачки стали рубиновыми.

75.

Некоторые высказывали предположение, что сама Дороти представляла Теодора Рузвельта, поскольку «дор-о-ти» – это «те-о-дор», только со слогами в обратном порядке.

76.

Подробное рассмотрение «Волшебника из страны Оз» как «монетарной аллегии» см. в: Littlefield 1963 и Rockoff 1990. Баум никогда не признавал, что у книги есть политический подтекст, но даже те, кто сомневается, что он действительно имеется (например, Parker 1994; cf. Taylor 2005), признают, что очень скоро книге приписали такой смысл: явные политические отсылки имелись уже в мюзикле 1902 года, поставленном всего через два года после публикации произведения.

77.

Рейгана легко можно было бы представить как приверженца крайнего военного кейнсианства, который использовал бюджет Пентагона для создания рабочих мест и стимулирования экономического роста; как бы то ни было, те, кто на самом деле управлял системой, даже на словах отказались от монетарной доктрины очень быстро.

78.

См.: Ingham 2000.

79.

Keynes 1930: 4–5.

80.

Это называют банковским парадоксом. В крайне упрощенной версии он выглядит так: допустим, есть только один банк. Даже если этот банк предоставит вам кредит в триллион

долларов на основе собственных активов самых разных видов, вы в конечном счете положите деньги обратно в этот банк, что будет означать, что банку будут должны один триллион и один триллион у него будет в виде оборотных активов, – эти суммы будут полностью уравнивать друг друга. Если банк будет брать с кредита больший процент, чем дает вам по вашему вкладу (банки всегда так поступают), то он будет получать прибыль. То же самое произойдет, если вы потратите триллион: кому бы ни достались эти деньги, он все равно должен будет положить их в банк. Кейнс подчеркивал, что существование множества банков на самом деле ничего не меняет, при условии что банкиры координируют свои усилия, как на практике всегда и происходит.

81.

Я мог бы заметить, что это предположение отражает логику неоклассической экономической теории, в соответствии с которой все базовые институциональные соглашения, определяющие контекст экономической деятельности, были приняты всеми сторонами в воображаемый момент в прошлом, и с тех пор все находилось и всегда будет находиться в равновесии. Интересно, что Кейнс напрямую отвергал это предположение в своей теории денег (Davidson 2006). Современные теоретики общественного договора иногда выдвигают схожий аргумент, заключающийся в том, что не нужно считать, что это произошло в действительности, достаточно сказать, что это могло произойти, и действовать так, как если бы так и было.

82.

Аглиетта – марксист и один из основателей «Школы регулирования»; Орлеан – сторонник «экономики соглашений», его поддерживают Тевено и Болтански. Теория изначального долга развивалась в основном группой исследователей под руководством экономистов Мишеля Аглиетты и Андре Орлеана сначала в работе “*La Violence de la Monnaie*” (1992), где использовалась психоаналитическая схема Жирарда, а затем в труде «Суверенитет, легитимность и деньги» (*Sovereignty, Legitimacy and Money*, 1995) и в сборнике под названием «Суверенные деньги» (Aglietta, Andreau и др. 1998), изданном коллективом из 11 ученых.

83.

Например, Рэндалл Рей (Randall Wray 1990, 1998, 2000) и Стефани Белл (Stephanie Bell 1999, 2000) в Соединенных Штатах или Джеффри Ингем (Geoffrey Ingham 1996, 1999, 2004) в Великобритании. Майкл Хадсон и другие участники группы ISCANEE (Международная конференция исследователей древних экономик Ближнего Востока) использовали отдельные аспекты этой идеи, но, насколько я знаю, никогда полностью к ней не примыкали.

84.

*Рна. Маламуд (Malatoud 1983: 22) отмечает, что уже в самом раннем тексте он означал и то, что «получено от богов в обмен на обещание вернуть им то же самое или хотя бы что-то сопоставимое по стоимости», и “преступление” или “ошибку”. То же у Оливелля (Olivelle 1993: 48), который отмечает, что *рна «может означать ошибку, преступление или вину, часто все это одновременно». Но это не то же самое, что «обязанность». Типичный образец ранних молитв об освобождении от долга см. в: Атхарваведа. Кн. 6, гимны 117, 118 и 119. Атхарваведа (Шаунака). Т. 1, кн. I–VII / пер. с ведийского языка, вступ. ст., коммент. и прил. Т.Я. Елизаренковой. М.: Восточная литература, 2005.

85.

Шатапатха-Брахмана 3.6.2.16

86.

Как отмечал Сильвен Леви, наставник Марсея Мосса, если принимать брахманское учение всерьез, то «единственным настоящим жертвоприношением может быть только самоубийство» (1898: 133; см. также: А. В. Keith 1925: 459). Но, разумеется, никто так к этому не относился.

87.

Точнее, ритуал давал приносящему жертву возможность вырваться из мира, где все, в том числе и он, было творением богов, обрести бессмертное, божественное тело, вознестись на небеса и тем самым «родиться в созданном им самим мире», в котором все долги могут быть выплачены, и выкупить свое покинутое смертное тело у богов (см., например, Lévi 1898: 130–132; Malamoud 1983: 31–32). Это, пожалуй, одно из самых смелых утверждений о действенности жертвоприношения, но схожие идеи приблизительно в это же время выдвигали и некоторые китайские священнослужители (Puett 2002).

88.

В тексте, с которого я начал главу, они указываются как «риши», но, поскольку это относится к авторам священных текстов, это применение термина представляется обоснованным.

89.

Здесь я объединяю две версии, которые слегка различаются между собой: в «Гайттирия-самхита» (6.3.10.5) говорится, что все брахманы рождаются с долгом, но упоминаются только боги, Отцы и мудрецы – об обязательстве оказывать гостеприимство речи не идет; в «Шатапатха-Брахмана» (1.7.2.1–6) указывается, что все люди рождаются в долгу, и перечисляются все четыре его вида; но это произведение было, по-видимому, адресовано мужчинам каст «дважды рожденных». Полную дискуссию см. в: Malamoud 1983 и Olivelle 1993: 46–55, а также Malamoud 1998.

90.

Théret 1999: 60–61.

91.

«Окончательная уплата этого основополагающего долга – принесение в жертву своей жизни, которая должна быть служить умиротворению и выражению благодарности прародителям и божествам космоса» (Ingham 2004: 90).

92.

Там же. Он цитирует Хадсона (Hudson 2002: 102–103), упоминая термины «вина» и «грех», но, как мы увидим ниже, аргумент этот восходит к Грирсона (Grierson 1977: 22–23).

93.

Laum 1924. Его версия о том, что в Греции деньги произошли от храмовых раздач, интересна, и у нее есть современные последователи в лице Сифорда (Seaford 2004) и, отчасти, Хадсона (например, Hudson 2003). Но на самом деле это теория происхождения чеканки монет.

94.

Литературы по этому вопросу столько, что всю ее не перечислить. Есть две стандартные обзорные работы о «первобытных деньгах» – одна Квиггина, другая Эйнцига; обе они вышли в 1949 году и уже устарели, но содержат очень много полезного материала.

95.

Английское слово “pay” (платить) происходит от французского “payer”, которое, в свою очередь, восходит к латинскому глаголу “pacare” (умиротворять, примиряться). “Pacare” также связано с глаголом “pacere” (прийти к соглашению с пострадавшей стороной) (Grierson 1977:21).

96.

Grierson 1977: 20.

97.

97

98.

Есть много древних месопотамских мифов и гимнов, но большую их часть обнаружили в развалинах древних библиотек, где также было много записей о судебных разбирательствах, деловых соглашениях и личной переписки. Что касается древних санскритских текстов, то мы располагаем только религиозной литературой. Более того, поскольку эти тексты передавались изустно от учителя к ученику на протяжении тысяч лет, мы даже не можем точно сказать, когда и где они были написаны.

99.

Процентные ссуды, безусловно, существовали в Месопотамии, но в Египте они появились только в эллинистическую эпоху, а среди германских племен и того позже. Текст говорит о «моем обязательстве перед Ямой», которое может означать «процент», но Кейн, подробно проанализировавший ранние индийские юридические источники в своей «Истории Дхармашастры» (Kane 1973 III: 411–461), не приходит к однозначному выводу о том, когда впервые появился процент; Косамби (Kosambi 1994: 148) полагает, что он мог появиться около 500 года до н. э., но признает, что это лишь предположение.

100.

Здесь на ум сразу приходят Месопотамия, Египет и Китай. Представление о том, что жизнь – это заем, взятый у богов, встречается в других цивилизациях: в Древней Греции оно, по-видимому, сложилось приблизительно в то же время, когда возникли деньги и процентные ссуды. «Все мы в долгу перед смертью», – писал поэт Симонид около 500 года до н. э. «Идея о том, что жизнь – это заем, который нужно выплатить смерти, практически вошла в поговорку» (Millet 1991a: 6). Насколько мне известно, ни один греческий автор не связывает это напрямую с жертвоприношением, хотя можно было бы предположить, что платоновский персонаж Кефал проводит эту связь в одном фрагменте «Государства» (331d).

101.

Юбер и Мосс (Hubert and Mauss 1964) дают хороший обзор древней литературы по этому вопросу.

102.

Finley 1981: 90.

103.

Здесь было определенное юридическое различие; на практике это означало, что деньги, взимаемые в Персии, технически считались «дарами», но в этом проявляется сила принципа (Briant 2006: 398–399).

104.

В Египте времен фараонов и в императорском Китае точно взимались прямые налоги деньгами, продуктами или трудом – их размеры колебались в различные эпохи. В древней Индии племенные республики ганасангха, судя по всему, не взимали налогов со своих граждан, но сменившие их монархии стали это делать (Rhys Davies 1922: 198–200). На мой взгляд, эти налоги не были обязательными и зачастую считались символами завоевания.

105.

Я придерживаюсь той точки зрения, которая, на мой взгляд, преобладает и сегодня; хотя в некоторых местах дворцы с древних времен занимались всем подряд, а храмы были им подчинены (см. Maekawa 1973–1974). По вопросу о сочетании храмовых, дворцовых, клановых и личных владений в разных местах и в различные эпохи идут оживленные споры, но я их не стал затрагивать, хотя они и представляют интерес, за исключением тех случаев, когда они напрямую связаны с моим изложением.

106.

Я следую интерпретации Хадсона (Hudson 2002), хотя другие, например Стейнкеллер (Steinkeller 1981), Майруп (Mieroop 2002: 64), полагают, что процент мог появиться из рентных выплат.

107.

Хороший обзор дает Хадсон (Hudson 1993, 2002). Значение понятия “amargi” было впервые отмечено Фалькенштайном (Falkenstein 1954); см. также: Kramer 1963: 79; Lemche 1979: 16n34.

108.

В древнем Египте не было процентных ссуд, и мы мало что знаем о других ранних империях, поэтому не можем понять, насколько они были необычными. Но китайские данные по меньшей мере наводят на размышления. Китайские денежные теории носили совершенно хартальный характер; в истории о появлении денег, получившей широкое распространение в ханьскую эпоху, легендарный основатель династии Шан, обеспокоенный тем, что многим семьям приходилось продавать детей во время голода, создал монеты, для того чтобы правительство могло выкупать детей и возвращать их родителям (см. ниже, гл. 8).

109.

В конце концов, что есть жертвоприношение, если не признание того, что к такому действию, как лишение жизни животного, пусть даже необходимого для нашего выживания, нужно относиться не легкомысленно, а с долей смирения перед космосом?

110.

Если только кредитор не должен денег получателю, что позволяет каждому по очереди погасить свои долги. Может показаться, что это не имеет отношения к делу, но в истории

такое круговое погашение долгов всегда было довольно распространенной практикой: см., например, описание «расплат» ниже, в гл. 11.

111.

Я вовсе не приписываю эту точку зрения авторам Брахман, а просто следую тому, что, как мне кажется, является внутренней логикой этого утверждения, и веду диалог с его авторами.

112.

Malamoud 1983: 32.

113.

Comte 1891: 295.

114.

Во Франции, особенно такими политическими мыслителями, как Альфред Фуйе и Леон Буржуа. Последний был лидером Радикальной партии в 1890-х годах. Понятие общественного долга он превратил в одну из концептуальных основ своей философии «солидаризма» – формы радикального республиканства, которая, как он утверждал, могла стать альтернативой как революционному марксизму, так и рыночному либерализму. Замысел заключался в преодолении насильственной классовой борьбы через призыв к созданию новой нравственной системы, основанной на понятии коллективного долга перед обществом, по отношению к которому государство, разумеется, было лишь администратором и представителем (Hayward 1959; Donzelot 1994; Jobert 2003). Эмиль Дюркгейм в политике также придерживался позиций солидаризма.

115.

Считается, что в лозунг это выражение превратил Шарль Жид, французский социалист конца XIX века, придерживавшийся кооперативистских взглядов; но оно получило распространение и среди сторонников солидаризма. В те годы он стал важным принципом для социалистических кружков в Турции, а также, как я слышал, но не имел возможности проверить, в Латинской Америке.

116.

Hart 1986: 638.

117.

Это обозначается техническим термином «фидуциарность», который выражает то, насколько их стоимость основывается не на содержании металла, а на общественном доверии. Хорошее обсуждение фидуциарности древних денег см. в: Seaford 2004: 139–146. Стоимость почти всех металлических монет была завышена. Если бы правительство устанавливало их стоимость ниже стоимости металла, люди, разумеется, просто бы их переплавляли; если она соответствует стоимости металла, то это приведет к дефляции. Как отмечает Бруно Тере (Bruno Théret 2008: 826–827), хотя реформы Локка, приравнявшие стоимость британского соверена к стоимости веса серебра, из которого он чеканился, были идеологически мотивированными, для экономики они имели пагубные последствия. Разумеется, если происходит порча монеты или стоимость относительно содержания металла слишком высока, то это может вызывать инфляцию. Но традиционная точка зрения, в соответствии с которой, скажем, римские деньги погубила порча монеты, явно ошибочна, поскольку инфляция продолжалась несколько столетий (Ingham 2004: 102–103).

118.

Einzig 1949: 104; подобные игральные фишки, сделанные из бамбука, использовались в китайских городах в пустыне Гоби (там же: 108).

119.

Об английских денежных знаках см. Williamson 1889; Whiting 1971; Mathias 1979b.

120.

О какао-бобах см.: Millon 1955; о соляных деньгах в Эфиопии см.: Einzig 1949: 123–126. И Карл Маркс (1857: 223, 1867: 182), и Макс Вебер (1978: 673–674) придерживались того мнения, что деньги появились из меновой торговли между обществами, а не внутри каждого из них. Карл Бюхер (Karl Bücher 1904) и, возможно, Карл Поланьи (Karl Polanyi 1968) были близки к этой точке зрения: по крайней мере, они утверждали, что современные деньги возникли из внешнего обмена. Торговые деньги и местные системы учета неизбежно усиливали друг друга. В той мере, в которой мы можем говорить об «изобретении» денег в современном смысле слова, именно на этот процесс, вероятно, стоит обратить внимание, хотя в местах вроде Месопотамии это должно было произойти намного раньше появления письменности, а значит, для нас эта история безвозвратно утрачена.

121.

Einzig (1949: 266), ссылается на Kulischer (1926: 92) and Ilwof (1882: 36).

122.

К генеалогии морали, 2.8.

123.

Как я отмечал выше, и Адам Смит, и Ницше предвосхитили знаменитый аргумент Леви-Стросса о том, что язык – это «обмен словами». Примечательно, что очень многие сами себя убедили в том, что этим Ницше предлагает радикальную альтернативу буржуазной идеологии и даже логике обмена. Делез и Гваттари утверждают, что «великой книгой современной этнологии является не «Очерк о даре» Мосса, а «К генеалогии морали» Ницше. По крайней мере, так должно было бы быть», поскольку, как считают они, Ницше сумел объяснить «первобытное общество» в категориях долга, тогда как Мосс не решался порвать с логикой обмена (Делез Ж., Гваттари Ф. Анти-Эдип: Капитализм и шизофрения. Екатеринбург: У-Фактория, 2007. С. 299). Следуя за ними, Сарту-Лажюс (Sarhou-Lajus 1997) описала философию долга как альтернативу буржуазным идеологиям обмена, которые, как она полагает, предполагают изначальную автономию личности. Конечно, то, что предлагает Ницше, вовсе не альтернатива. Это другой аспект того же самого. Все это служит напоминанием о том, как легко спутать радикальные формы нашей собственной буржуазной традиции с альтернативными теориями. (Батай (Bataille 1993), которого Делез и Гваттари в том же пассаже называют другой альтернативой Моссу, еще один пример такого рода.)

124.

К генеалогии морали, 2.5.

125.

Ницше явно слишком зачитывался Шекспиром. Данных о причинении телесных увечий в Древнем мире нет; часто калечили рабов, но они по определению не могли быть должниками. За долги иногда калечили в Средние века, но, как мы увидим ниже, жертвами были, как правило, евреи, поскольку они были лишены прав, – сами они увечий точно не наносили. Шекспир поставил все с ног на голову.

126.

К генеалогии морали, 2.19.

127.

К генеалогии морали, 2.21.

128.

Greuchen 1961: 154. Не ясно, на каком языке это было сказано, поскольку у эскимосов не было института рабства. Этот пассаж интересен еще и потому, что он не имел бы смысла, если бы не было определенных ситуаций, в которых обмен дарами осуществлялся, а значит, и росли долги. Охотник здесь подчеркивает важность того, чтобы эта логика не распространялась на базовые человеческие потребности вроде еды.

129.

Например, в долине Ганга во времена Будды велось множество споров об относительных достоинствах монархического и демократического устройства. Гаутама, хотя и был царским сыном, был на стороне демократов, и многие методы принятия решений, использовавшиеся в демократических собраниях той эпохи, сохранились в организации буддистских монастырей (Muhlenberger & Paine 1997). Иначе мы ничего не знали бы о них или даже были бы уверены, что подобные демократические формы правления существовали.

130.

Например, выкуп земли своих предков (Левит 25: 25, 26) или чего-то, что было подарено храму (Левит 27).

131.

И здесь, в случае полной неплатежеспособности, должник мог утратить собственную свободу. Хороший обзор современной литературы об экономических условиях в эпоху пророков см. в: Houston 2006. Здесь я следую его синтезу и реконструкции Майкла Хадсона (Hudson 1993).

132.

См., например, Амос 2.6, 8.2 и Исаия 58.

133.

Неемия 5: 3–7.

134.

Среди ученых продолжают оживленные споры о том, были ли эти законы придуманы Неемией и его союзниками из числа священников (прежде всего Ездрой) и были ли они когда – либо введены в действие; примеры см. в: Alexander 1938; North 1954; Finkelstein 1961, 1965; Westbrook 1971; Lemke 1976, 1979; Hudson 1993; Houston 1996. Раньше подобные споры

велись и по вопросу о том, вводились ли в действие законы о «чистом листе» в Месопотамии, пока не было собрано огромное количество фактов, доказывающих, что это так. Множество свидетельств указывает на то, что законы из Второзакония также вступили в силу, хотя мы никогда не узнаем, насколько эффективны они были.

135.

«В седьмой год делай прощение. Прощение же состоит в том, чтобы всякий заимодавец, который дал займы ближнему своему, простил долг и не взыскивал с ближнего своего или с брата своего, ибо провозглашено прощение ради Господа» (Второзаконие 15: 1–2). Те, кто находился в долговом рабстве, также получали свободу. Каждые 49 (или, согласно другому прочтению, 50) лет наступало прощение долгов, когда все земли семей должны были быть возвращены изначальным владельцам и даже члены семей, проданные в рабство, должны были быть освобождены (Левит 25: 9).

136.

Это и неудивительно, если учесть, что необходимость брать займы чаще всего обуславливалась необходимостью выплачивать налоги, установленные иностранными завоевателями.

137.

Хадсон отмечает, что в ассиро-вавилонском языке выражение «начать с чистого листа» «передавалось словами «hubullum» (долг) “masa’um” (мыть), дословно «смыть долг(овые записи)», т. е. разбить глиняные таблички, на которых были записаны финансовые обязательства» (Hudson 1993: 19).

138.

Матфей 18: 23–34.

139.

Чтобы читатель составил себе представление об упоминаемых суммах: десять тысяч талантов золота приблизительно соответствовало всем римским налоговым сборам в ближневосточных провинциях империи. Сто денариев составляли 1/60 таланта, т. е. стоили в 600 тыс. раз меньше.

140.

“Orheilēma” в греческом оригинале, что означало «то, что человек должен», «финансовый долг» и – шире – «грех». Этим словом обычно переводили арамейский термин «houween», который также означал «долг» и – шире – «грех». Английский перевод здесь (как и во всех дальнейших цитатах из Библии) следует версии короля Якова, которая в данном случае отталкивается от перевода «Отче наш», сделанного Джоном Уиклифом в 1381 году. Большинство читателей, вероятно, лучше знакомы с версией Книги общих молитв 1559 года, в которой говорится «И прости нам прегрешения наши, как и мы прощаем тем, кто грешит против нас». Как бы то ни было, в оригинале речь идет явно о «долгах».

141.

Если заменить это на «духовные долги», то это ничего особо не изменит.

142.

Перспектива сексуального домогательства в подобных ситуациях явно будоражила народное воображение. «Некоторые из дочерей наших уже находятся в порабощении», – жаловались израильтяне Неемии. С юридической точки зрения, если дочери, отданные в долговое рабство, были девственницами, они не должны были отдавать себя кредиторам, которые не желали на них жениться или женить на них своих сыновей (Исход 21: 7–9; Wright 2009: 130–133), хотя обычных рабов могли принуждать к сексу (см. Hezser 2003) и на практике разница между разными категориями рабов стиралась. Даже там, где были законы, защищавшие детей, у отцов было мало возможностей защитить их или настоять на соблюдении этих законов. Например, в рассказе римского историка Тита Ливия об отмене долгового рабства в Риме в 326 году до н. э. фигурирует молодой человек по имени Гай Публилий, который оказался в неволе из-за долга, унаследованного им от отца, и которого кредитор повергал жестоким побоям за то, что тот отвергал его ухаживания (Тит Ливий 8.28). Когда юноша вышел на улицу и рассказал о том, что с ним произошло, собралась толпа, которая отправилась к Сенату и потребовала отмены долгового рабства.

143.

Особенно если рабы были иностранцами, захваченными в плен на войне. Как мы увидим далее, распространенное убеждение, что в Древнем мире не выдвигалось нравственных аргументов против рабства, также ошибочно. Их было немало. Но, за исключением некоторых радикалов вроде ессеев, все принимали институт рабства как необходимое зло.

144.

Хадсон (Hudson 2002: 37) цитирует греческого историка Диодора Сицилийского (i.79), который приписывает этот аргумент фараону Бокхорису, хотя он тоже подчеркивает, что военные соображения не были единственными и что списание долгов отвечало широко распространенным требованиям справедливости.

145.

Oppenheim 1964: 88 (Оппенгейм А. Древняя Месопотамия. Портрет погибшей цивилизации. М.: Наука, 1990). Оппенгейм полагает, что беспроцентные ссуды были больше распространены в Леванте и что в Месопотамии люди, равные по социальному положению, чаще брали друг с друга процент, но на более легких условиях; он цитирует староассирийского купца, говорящего о «ставке, которую брат взимает с брата» (там же). В Древней Греции дружеские займы между равными по положению людьми назывались “*eranos*”; обычно это были суммы, которые собирались спонтанно возникшим обществом взаимопомощи и не предполагали уплаты процентов (Jones 1956: 171–173; Vondeling 1961; Finley 1981: 67–68; Millet 1991: 153–155). Часто такие займы предоставляли друг другу аристократы; кроме того, так поступали группы рабов, пытавшихся собрать деньги для того, чтобы купить себе свободу (Harrill 1998: 167). Эта тенденция к взаимопомощи, ярко проявляющаяся как среди низов, так и среди верхов общества, сохраняется и по сей день.

146.

Отсюда постоянное повторение словосочетания «твой брат», особенно во Второзаконии, например «брату твоему не отдавай в рост» (23: 20).

147.

Как мы увидим в седьмой главе, Платон начинает «Государство» именно с этого.

148.

Вежливый, но разгромный анализ см. в: Kahneman 2003.

149.

Homans 1958, также Blau 1964; Levi-Strauss 1963: 296. В антропологии идею взаимности как универсального принципа первым выдвинул Рихард Турнвальд (Thurnwald 1916), но знаменитой ее сделал Малиновский (Malinowski 1922).

150.

Это одна из причин, почему ни в одном известном судебном кодексе этот принцип не фигурировал; наказание всегда заменялось чем-то другим.

151.

Atwood (2008: 1). Далее автор продолжает исследовать природу нашего чувства экономической нравственности. Сравнивая поведение запертых в клетку обезьян с детьми из канадского среднего класса, она утверждает, что все человеческие отношения – это либо обмен, либо насильственное присвоение (там же: 49). Несмотря на блистательность многих ее аргументов, книга в итоге представляет собой грустное свидетельство того, как трудно отпрыскам интеллигенции, живущей на северных берегах Атлантики, не принимать свое собственное видение мира за простую человеческую природу.

152.

Как писал Сетон позднее, отец, разорившийся судовладелец, ставший бухгалтером, был столь холоден и жесток, что его сын провел большую часть своей юности в лесах, скрываясь от него; выплатив долг, который, кстати, составлял 537,50 доллара, круглую, но не запредельную сумму в 1881 году, Сетон сменил имя и большую часть оставшейся жизни занимался тем, что придумывал более здоровые методы воспитания детей.

153.

Отчет У. Х. Битли в: Levy-Bruhl 1923: 411.

154.

Отчет Фр. Бюллеона в: Levy-Bruhl 1923: 425.

155.

Эта фраза, кстати, принадлежит не Марксу. Она была распространенным лозунгом в раннем французском рабочем движении и в печати впервые появилась в работе социалиста Л у и Блана в 1839 году. Маркс привел эту фразу только в своей «Критике Готской программы» в 1875 году и даже там использовал ее в весьма специфическом ключе, поскольку считал, что этот принцип может применяться в масштабах всего общества тогда, когда технология достигнет такого уровня, что сможет обеспечить полное материальное изобилие. Под «коммунизмом» Маркс понимал как политическое движение, которое должно привести к такому обществу будущего, так и самое это общество. Я здесь больше опираюсь на альтернативное течение революционной теории, которое в наиболее полной мере отражено в работе Петра Кропоткина «Взаимная помощь как фактор эволюции» (1902).

156.

Если только есть какая-то причина ему не следовать – например, иерархическое разделение труда, которое одним людям позволяет пить кофе, а другим нет.

157.

Это, естественно, означает, что командные экономики, в которых правительственная бюрократия должна координировать все аспекты производства и распределения товаров и услуг на данной национальной территории, как правило, намного менее эффективны, чем другие возможные альтернативы. Конечно, это правда, хотя если это «вообще не работает», то трудно понять, как страны вроде Советского Союза могли существовать, не говоря уже о том, чтобы располагать статусом первой мировой державы.

158.

Эванс-Причард Э.Э. Нуэры: Описание способов жизнеобеспечения и политических институтов одного из нилотских народов. М.: Наука, 1985. С. 162.

159.

Точно так же прохожий, принадлежащий к среднему классу, вряд ли будет узнавать дорогу у члена уличной шайки, а скорее в страхе убежит, если тот подойдет к нему спросить, который час, но так происходит потому, что негласно считается, будто они находятся в состоянии войны.

160.

Там же, с. 183.

161.

Richards 1939: 197. Макс Глюкман, говоря о таких обычаях, приходит к выводу, что если и можно говорить о «первобытном коммунизме», то он существует скорее в потреблении, чем в производстве, которое обычно организовано на основе намного более индивидуальных принципах (Gluckman 1971: 52).

162.

Типичный пример: «повстречав оголодавших людей, племя, чьи запасы еды еще не полностью истощены, поделится с пришельцами тем немногим, что у него осталось, не дожидаясь их просьбы, хотя тем самым оно подвергает себя опасности погибнуть, так же как и те, кому оно помогает...» Lafitau 1974 Volume II: 61.

163.

Отчеты иезуитов (1635) 8: 127, цитируются в: Delâge 1993: 54.

164.

Это обычное дело в некоторых частях мира (особенно в Андах, Амазонии, на островах Юго-Восточной Азии и в Меланезии). Во всех случаях есть правило, согласно которому одна половина зависит от другой в некоторых вещах, считающихся ключевыми в человеческой жизни. Жениться можно только на ком-то из другой половины селения, или есть можно только свиней, выращенных на другой половине, или одной половине нужны люди из второй для проведения ритуалов инициации юношей.

165.

Я уже писал об этом: Graeber 2001: 159–160; ср.: Mauss 1947: 104–105.

166.

Я не касаюсь всего вопроса об односторонних примерах, о котором писал в: Graeber 2001: 218.

167.

Для описания отношений такого рода Маршалл Салинс придумал выражение «всеобщая взаимность» (Салинс М. Экономика каменного века. М.: Издательство О.Г.И., 1999): этот принцип предполагает, что если всё находится в свободном обращении, то рано или поздно счета взаимно уравниваются друг друга. Марсель Мосс выдвигал такой аргумент в своих лекциях 1930-х годов (Mauss 1947), но он также признавал здесь наличие проблемы: это может быть справедливо для родственных секций ирокезов, но некоторые отношения никогда не уравниваются, например между матерью и ребенком. Его решение проблемы – «чередующаяся взаимность», предполагающая, что мы платим нашим родителям, когда сами рожаем детей, – явно проистекает из изучения Вед и в конечном счете показывает, что если решить, будто все отношения основаны на взаимности, то всегда можно сформулировать этот принцип настолько широко, что он окажется верным.

168.

Hostis; см. Benveniste 1972: 72. Латинская терминология, касающаяся гостеприимства, подчеркивает, что исходным условием любого жеста гостеприимства является полное господство хозяина (мужчины) в доме; Деррида (Derrida 2000, 2001) утверждает, что это указывает на ключевую противоречивость самого понятия гостеприимства, поскольку оно подразумевает уже существующее полное господство или власть над другими, которая принимает крайние формы в истории о Лоте, предложившем своих дочерей толпе содомитов, чтобы те не насильствовали его гостей. Однако тот же принцип гостеприимства можно обнаружить и в обществах, которые не имели никаких патриархальных черт, как, например, ирокезское.

169.

Evans-Pritchard 1940: 154, 158.

170.

Это, бесспорно, одна из причин, почему очень богатые люди склонны кооперироваться, в основном друг с другом.

171.

Если несколько смягчить краски, то можно говорить об обмене пленными, нотами или комплиментами.

172.

Хороший источник по торгу: Uchendo 1967.

173.

Bohannan 1964: 47.

174.

Это даже не настоящая деловая сделка, поскольку часто это может включать коллективные угощения, ужины и обмен подарками, – больше, чем воображаемая деловая сделка, фигурирующая в учебниках по экономике.

175.

Достаточно лишь взглянуть на обширную антропологическую литературу о «пиршествах-соревнованиях»: например, Valeri 2001.

176.

Bourdieu 1965 – основной текст, но многие его положения повторяются в: Bourdieu 1990: 98–101.

177.

Onvlee 1980: 204.

178.

Петроний 51; Плиний «Естественная история» 36.195; Дион 57.21.5–7.

179.

«Этот царь больше, чем кто-либо, склонен делать подарки и проливать кровь. Не бывает так, чтобы у его ворот не было какого-нибудь обогатившегося бедняка или какого-нибудь человека, которого ведут на казнь».

180.

Или очень богатые люди. Нельсон Рокфеллер, например, хвалился тем, что никогда не носил с собой бумажник. Он ему был не нужен. Иногда, когда он работал допоздна и хотел покурить, он мог занять немного денег у охранников в холле Рокфеллер-Центра, которые затем хвастались тем, что они одолжили денег Рокфеллеру, и редко когда просили их вернуть. Напротив, «португальский король Мануэль I, правивший в XVI веке и разбогатевший на торговле с Индией, принял титул Господина завоеваний, мореплавания и торговли Эфиопии, Аравии, Персии и Индии. Другие называли его «бакалейным королем» (Но 2004: 227).

181.

См.: Graeber 2001: 175–176.

182.

Даже между посторонними людьми это было несколько необычно: как подчеркивал Серве (Servet 1981, 1982), «примитивная торговля» возникает в основном из торгового партнерства и местных посредников.

183.

Я так это формулирую потому, что здесь меня интересует в основном экономика. Если бы мы размышляли просто об отношениях между людьми, то, на мой взгляд, можно было бы сказать, что одна крайность – это убийство, а другая – рождение.

184.

Действительно, это представляется ключевой чертой благотворительности, которая, как и поднесение подарков царю, никогда не приводит к взаимности. Даже если обнаруживается, что жалкий бедняк на самом деле бог, странствующий по земле в смертном обличии, или Харун аль-Рашид, то ваше вознаграждение будет совершенно непропорциональным. Можно вспомнить и все истории об ушедших в запой миллионерах, которые, вспоминая о былой жизни, раздают роскошные автомобили или дома своим бывшим благодетелям. Проще

представить попрошайку, дающего вам целое состояние, чем возвращающего вам ровно тот доллар, который вы ему дали.

185.

Ксенофонт «Киропедия» VIII.6, Геродот 3.8.9; см. Briant 2006: 193–194, 394–404, который признает, что нечто подобное, возможно, имело место: более спонтанная система даров, существовавшая при Кире и Камбизе, была систематизирована при Дарии.

186.

Блок М. Феодальное общество / пер. М.Ю. Кожевниковой, Е.М. Лысенко. М.: Издательство им. Сабашниковых, 2003. Он добавляет, что «всякий акт, совершенный однажды, а тем более повторенный три или четыре раза, мог превратиться в прецедент, даже если вначале был исключением, даже явным злоупотреблением».

187.

Этот подход часто приписывают английскому антропологу А.М. Хокарту (Hocart 1936). Здесь важно, что это необязательно означает, что эти занятия становились для них главными или единственными: основную часть времени эти люди оставались такими же крестьянами, как и все остальные. Но то, что они делали для царя или – позже – для общины при совершении обрядов, считалось их определяющей чертой, их идентичностью в рамках всего общества.

188.

На самом деле нас может возмутить проявление скупости с его стороны, которое мы никогда бы не сочли таковым, если бы оно исходило от кого-то другого и особенно от нас.

189.

Свою версию Сара Стиллман опубликовала в статье «Синдром пропавшей белой девочки: исчезнувшие женщины и деятельность СМИ» (Stillman, 2007): publications.oxfam.org.uk/oxfam/display.asp?K=002J1246&sf_01=cat_class&st_01=620&sort=SORT_DATE/d&m=84&dc=719

190.

Эту точку зрения убедительно отстаивает Каратани (Karatani 2003: 203–205). Квакиутли и другие индейцы северо-западного побережья представляют собой промежуточный случай – это аристократические общества, в которых, тем не менее, использовались непринудительные средства накопления ресурсов, по крайней мере в ту эпоху, о которой мы знаем (другая точка зрения в: Codere 1950).

191.

Жорж Дюби (Дюби Ж. Трехчастная модель, или Представления средневекового общества о себе самом / пер. Ю.А. Гинзбург. М.: Языки русской культуры, 2000) излагает исчерпывающую историю этой концепции, которая восходит к намного более древним индоевропейским представлениям.

192.

Типичный пример воображаемой взаимности между отцом и сыном приводит Оливер (Oliver 1955: 230). Любители теории антропологии отметят, что здесь я примыкаю к точке

зрения Эдмунда Лича (Leach 1961) относительно проблемы «кругового спаривания». Позже он применил тот же аргумент при изучении знаменитого «круга кула» (Leach 1983).

193.

Бывают иерархические отношения, которые сами себя подтачивают, например между учителем и учеником: если учителю удалось передать свои знания ученику, основа для неравенства исчезает.

194.

Greuchen 1961: 154. Неясно, на каком языке это было сказано, ведь у эскимосов не было института рабства. Кроме того, этот пассаж не имел бы смысла, если бы не было некоторых условий, в которых обмен подарками все же осуществлялся и, соответственно, росли долги. Охотник подчеркивает, что главное здесь заключалось в том, чтобы эта логика не распространялась на базовые потребности вроде пищи.

195.

Firth 1959: 411–412 (также в: Graeber 2001: 175). Его звали Тей Реинга.

196.

Один известный пример см. в: Chagnon 1996: 170–176.

197.

Точно так же две группы могут образовать союз, установив «шуточные отношения», в которых любой участник одной группы может – по крайней мере, в теории – обращаться к представителю другой с такими оскорбительными просьбами (Hébert 1958).

198.

Марсель Мосс в своем знаменитом «Очерке о даре» (1924) часто так делал, что нередко вносило путаницу в дискуссии последующих поколений.

199.

Mauss 1925, греческим источником был Посидоний. Как обычно бывает, неизвестно, насколько буквально стоит воспринимать этот рассказ. Мосс считал его довольно точным; я подозреваю, что такое могло произойти всего пару раз.

200.

Исландские саги. Т. I / пер. С.С. Масловой-Лашанской, В.В. Кошкина и А.И. Корсуна. СПб: Нева: Летний сад, 1999. Первая цитата взята непосредственно из Саги об Эгиле, глава 78. Отношение Эгила к щиту было двойственным: позже он взял его на свадебный пир, где бросил в бочку с кислой сывороткой. Затем, решив, что щит безнадежно испорчен, он снял с него украшения.

201.

См., например: Wallace-Hadrill 1989.

202.

Blaxter 1971: 127–128.

203.

Другой антрополог, например, определяет отношения между патроном и клиентом как «долгосрочные договорные отношения, в которых поддержка со стороны клиента обменивается на защиту со стороны патрона; в этом есть идеология с нравственным посылом, которая исключает открытый точный подсчет, но обе стороны все равно ведут негласный приблизительный счет; обмениваемые товары и услуги не равноценны, и не подразумевается, что ведется честный обмен или что удовлетворение, получаемое сторонами, уравнивается, поскольку клиент явно слабее и нуждается в патроне больше, чем патрон в нем» (Loizos 1977: 115). Это тоже одновременно является и не является обменом и подсчетом.

204.

Ровно то же самое происходит, когда кто-то устраивается на работу в ларек, продающий пончики; с юридической точки зрения это должен быть свободный договор между равными людьми, пусть даже для этого нам придется поддерживать очаровательную юридическую иллюзию, что один из них – воображаемое лицо по имени Криспи Крим.

205.

Например, слово “should” в английском языке происходит от немецкого “schuld”, означающего «вина, ошибка, долг». Бенвенисте приводит схожие примеры из других индоевропейских языков (Benveniste 1963: 58). В восточноазиатских языках, таких как китайский и японский, эти слова редко сливаются в одно, но подобное отождествление долга с грехом, стыдом, виной и ошибкой легко обнаружить и там (Malamoud 1988).

206.

Плутарх «Моралии» 303 В, также обсуждается в: Finley 1981: 152; Millett 1991a: 42. Подобным образом Фома Аквинский ввел в католическое учение представление о том, что грехи были «долгами наказания» перед Богом.

207.

Это одна из причин, почему так просто представить другие виды отношений в форме долгов. Предположим, что кто-то хочет выручить друга, отчаянно нуждающегося в деньгах, но не хочет ставить его в неловкое положение. Обычно проще всего это сделать, дав ему денег и затем сказав, что это ссуда (а потом обе стороны дружно об этом забывают). Или вспомните обо всех случаях, когда богач приобретает слуг, давая им денег и выставляя это ссудой.

208.

Могут сказать, что эквивалент слов «пожалуйста» и «спасибо» можно обнаружить в любом языке, стоит только захотеть; однако термины, которые вы найдете, зачастую используются настолько по-разному – например, только в ритуальном смысле или по отношению к вышестоящим, – что этот факт трудно рассматривать всерьез. Показательно, что в течение последнего столетия практически во всех языках, которые используются в офисах или для совершения покупок в магазинах, пришлось создавать термины, эквивалентные английским словам “please”, “thank you” и “you’re welcome”.

209.

По-испански сначала просят об услуге (“por favor”), а потом говорят “gracias”, подтверждая тем самым свою признательность за то, что делает другой человек; это слово происходит от латинского “gratia”, т. е. «влияние», или «услуга». «Ценить» (“appreciate”) имеет более

монетарное значение: если вы говорите «я ценю то, что вы для меня делаете», вы используете слово, происходящее от латинского “*appretiare*” («установить цену»).

210.

Выражение “*you’re welcome*” начало использоваться во времена Шекспира. Оно происходит от староанглийского “*wilcuma*”, в котором *wil* означает «удовольствие», а *cuma* – «гость». Именно поэтому люди считаются в доме желанными гостями (“*are welcomed*”). То есть это значит «будь моим гостем» и подразумевает, что если у кого-то и есть какое-то обязательство, то только у меня, поскольку каждый хозяин должен быть щедрым по отношению к своим гостям, и что выполнение такого обязательства само по себе является удовольствием. Примечательно, однако, что моралисты редко когда упрекают человека, не сказавшего «не стоит благодарности», оставляя это на усмотрение говорящего.

211.

Книга I, глава 12. Рабле Ф. Гаргантюа и Пантагрюэль / пер. П. Любимова. М.: Художественная литература, 1966.

212.

Сравните это со словами средневекового арабского философа Ибн-Мискавейха: «Кредитор желает благополучия должнику, потому что хочет получить свои деньги обратно, а не потому что так его любит. Должник, со своей стороны, делами кредитора особо не интересуется (в: Hosseini 2003: 36).

213.

Это очень к месту, поскольку весь монолог Панурга представляет собой лишь комическую переработку утверждения Марсилио Фичино о том, что миром движет сила любви.

214.

Из: Карлсон Питер. Относительно прелестная жизнь Нейла Буша. *The Washington Post*, 2003. 28 декабря. С. D01.

215.

Grierson 1977: 20.

216.

Справедливости ради отмечу, что далее Грирсон делает предположение о том, что рабство сыграло важную роль в происхождении денег, хотя он никогда не рассуждает о поле рабов, который имел большое значение: молодые рабыни были также самой твердой валютой в средневековой Исландии (Williams 1937), а в Ригведе крупные подарки и платежи, как правило, выражались «золотом, скотом и молодыми рабынями» (Chakravarti 1985: 56–57). Кстати, я называю их «молодыми», потому что везде, где рабы используются в качестве денежной единицы, речь идет о молодых людях 18–20 лет. Стоимость кумал считалась равной трем молочным коровам, или шести нетелям.

217.

О кумалах см. Nolan 1926; Einzig 1949: 247–248; Gerriets 1978, 1981, 1985; Patterson 1982: 168–169; Kelly 1998: 112–113. Большинство из этих авторов просто подчеркивает тот факт, что кумалы использовались как единица учета и что мы ничего не знаем о более ранних обычаях. Показательно, однако, что когда в судебныхниках различные товары используются в

качестве единиц учета, то к ним относятся основные экспортные товары страны и торговые деньги (именно поэтому в русских правдах такими единицами были меха и серебро). Это означает, что в период, предшествующий появлению письменных источников, торговля рабынями достигала значительных масштабов.

218.

Так пишет Бендер: Bender 1996.

219.

Здесь я опираюсь на подробный обзор этнографических работ, сделанный Аленом Тестаром (Testart 2000, 2001, 2002). Тестар дает великолепный синтез фактов, хотя и у него, как мы увидим в следующей главе, есть такие же странные слепые пятна в выводах.

220.

«Хотя риторическая фраза «отправить дочь на панель» имеет широкое хождение... само соглашение намного чаще представляется либо как ссуда семье, либо как аванс за услуги девушки (которые обычно не уточняются или вуалируются). Часто такие ссуды выдаются под 100 %, а основная сумма может быть увеличена за счет других долгов – расходы на проживание, медицинский уход, взятки чиновникам, – которые начинают расти, когда девушка приступает к работе» (Bishop & Robinson 1998: 105).

221.

Так пишет Майкл Хадсон (цит. по: Gray 1999), но это вполне очевидно, если обратиться к языку оригинала: «Не желай дома ближнего твоего; не желай жены ближнего твоего, ни раба его, ни рабыни его, ни вола его, ни осла его, ничего, что у ближнего твоего» (Исход 20: 17; Второзаконие 5: 21).

222.

Вампум – хороший пример: индейцы, судя по всему, никогда не использовали его для покупки вещей у других членов своей общины, хотя он регулярно использовался в торговле с поселенцами (см.: Graeber 2001: 117–150). Другие предметы, такие как раковины племени юрок или некоторые виды папуасских денег, широко использовались в качестве средства платежа в дополнение к своим социальным функциям, но именно для выполнения последних они изначально и появились.

223.

Самые важные тексты по «спорам вокруг калыма»: Evans-Pritchard 1931; Raglan 1931; Gray 1968; Comaroff 1980; Valeri 1994. Одна из причин, по которой Эванс-Причард изначально предложил заменить «выкуп невесты» «свадебным выкупом», заключается в том, что в 1926 году Лига Наций запретила эту практику как одну из форм рабства (Guyer 1994).

224.

О родстве и экономике см. в: Duggan 1932; Abraham 1933; Downes 1933; Akiga 1939; L. Bohannan 1952; P. Bohannan 1955, 1957, 1959; P. & L. Bohannan 1953, 1968; Tseyao 1975; Keil 1979.

225.

Хороший анализ того, как это могло происходить, см. в: Akiga Sai 1939: 106. Более поздний повторный анализ в региональной перспективе см. в: Fardon 1984, 1985.

226.

Пол Бохэннен так это описывает: «Долговые отношения кем между мужчиной и опекуном его жены никогда не прерываются, потому что кем вечен, а долг никогда не может быть выплачен» (Bohannan 1957: 73). Другая версия взята из: Akiga 1939: 126–127.

227.

Rospabé 1993: 35.

228.

Эванс-Причард Э.Э. Нуэры. С. 137.

229.

Как отмечает этнограф, «они принимают скот только для того, чтобы уважить вождя, а не потому, что готовы взять скот взамен жизни погибшего родственника» (1940: 153).

230.

Там же, 154–155.

231.

Морган Л. Г. Лига ходеносауни, или ирокезов. С. 175–176. Морган, юрист по образованию, использует здесь термин “condonation”, который в Оксфордском словаре английского языка определяется как «добровольное прощение обиды».

232.

Морган Л. Г. Лига ходеносауни, или ирокезов. С. 176. Обычно взымались пять саженей за мужчину и десять за женщину, но на дело могли повлиять и другие факторы (Т. Smith 1983: 236; Morgan 1851: 331–334; Parker 1926). О «траурных войнах» см.: Richter 1983; выражение «начертать имя на циновки» позаимствовано у Фентона (Fenton 1978: 315). Кстати, я исхожу из предположения, что умирает мужчина, поскольку именно такие примеры приведены в источниках. Неясно, делалось ли то же самое, когда женщина умирала естественной смертью.

233.

Эванс-Причард Э.Э. Нуэры. С. 138. Evans-Pritchard 1951: 109–111; Howell 1954: 71–80; Gough 1971; Hutchinson 1996: 62, 175–176.

234.

Rospabe 1995: 47–48, цитирует: Peters 1947.

235.

О траурной войне: Richter 1983. Интересно, что нечто подобное происходило у намбиквара. Я упоминал в третьей главе, что пиры, устраивавшиеся после меновой торговли, могли приводить к флирту и убийствам на почве ревности; Леви-Стросс добавляет, что обычный способ решить проблему таких убийств заключался в том, что убийца женился на вдове убитого, усыновлял его детей и тем самым становился тем человеком, которым была его жертва (Levi-Strauss 1943: 123).

236.

Хотя люди использовали ее, когда заказывали некоторые модные изделия (например, музыкальные инструменты) у ремесленников в соседних деревнях (Douglas 1963: 54–55).

237.

Douglas 1958: 112; также 1982: 43.